



Геннадий
ЛЮЛЬКИН

ОТРАВИТЕЛЬ

*Хромики
не для слабонервных*

Геннадий Люлькин

**Отравитель. Хроники
не для слаонервных**

«У Никитских ворот»

2026

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.44

Люлькин Г.

Отравитель. Хроники не для слабонервных / Г. Люлькин — «У Никитских ворот», 2026

ISBN 978-5-00246-554-5

Мемуарная книга Люлькина Геннадия «Отравитель» – пестрая мозаика, в которой из отдельных ярких эпизодов складывается не только судьба автора, но и видна многогранная жизнь страны. В столицу автор привез пастушеский рожок – два года летом он пас совхозное стадо коров; кусок угля – две зимы работал кочегаром; опасную бритву в память о буйном отце; свинцовый осколок в ягодице – ученик параллельного 9 «Б» класса выстрелил в него из дробовика; металлический зубной протез во рту – четыре передних зуба ему выбили, когда шестнадцатилетними подростками грабили «сельповский» магазин; словарный запас, наполовину состоявший из матерных слов... Как с таким багажом автору удалось завоевать Москву, пить шампанское с первыми лицами государства? Пронзительная автобиографическая книга полна драматизма, трагических событий и всяческих страстей.

УДК 82-3

ББК 84 (2Рос=Рус) 6.44

ISBN 978-5-00246-554-5

© Люлькин Г., 2026

© У Никитских ворот, 2026

Содержание

Предисловие автора	6
Крест на роду	7
Прости меня, папа!	7
Искалеченная судьба	10
«Я твою маму зарежу!»	16
Отравитель	21
Дом с решетками на окнах	27
Крест на роду	33
«Люляки-муляки» о студенческой жизни	37
«Торт Чеботаева»	38
«Писатель»	39
Встреча на Казанском вокзале	40
Кочегары мы, не плотники	41
Мои репетиторы	43
Взятка «степенному»	44
27 июля	47
Шок в университете	48
Первая командировка	49
Слепцы	50
Брага от парторга курса	51
Капец коммунизму!	53
Русский язык я изучал не по учебникам	55
«Не морочьте мне голову!»	56
Люлькин, на ежа садиться без штанов не советую!	58
Хорошо сидеть на крылечке в сатиновых трусах!	60
«Как обманчива природа!»	61
Хочу женщину!	64
Интернациональная комната	65
«Сто дней до приказа»	68
«До свидания, Москва, до свидания»	69
Презервативы	70
Поцелуи палочки	71
Об ангельском чувстве	72
Блестящая партия!	74
Ссыкун	75
«Обольститель»	80
Вспоминая Кучборскую	83
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Геннадий Юрьевич Люлькин
Отравитель
Хроники не для слабонервных

* * *

© Люлькин Г. Ю., 2026

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2026

Предисловие автора

Что меня сподвигло взяться за перо и написать автобиографию?

Эта мысль впервые возникла у меня после прочтения «Дневника одного гения» Сальвадора Дали. Дело в том, что чуть ли не половину этой книги Дали посвятил кровоточащей трещинке в уголке своего рта. И благодаря мучениям, причиняемым этой трещинкой, покрытой струпом, и мухам, которые со «страстной» настойчивостью садились на язвочку, он отождествлял себя с Христом.

Я подумал: если можно со вдохновением писать о какой-то трещинке в уголке рта и заявлять, что при этом ты «испытывал крестные муки», то почему ты, Геннадий, молчишь? Ведь страдания, испытанные тобой в детские, отроческие, юношеские и зрелые годы, несравнимы с далианскими. Чего стоит один лишь эпизод, когда тебя с мамой облил керосином родной отец и попытался сжечь!

И я взялся за перо.

Родившись 6 июня, я пишу с легкостью почти пушкинской. На вопрос «У вас есть спички?» всегда отвечал: «Спичек нет, зато у меня есть искра Божья!» Однако мало уметь писать, надо еще прожить жизнь так, чтобы обзавестись интересными, увлекательными, захватывающими сюжетами. Я понимаю, что никакая биография – пусть самая героическая или трагическая – не сделает текст хорошим, но я старался жить так, чтобы мне было о чем писать.

Захватывающих сюжетов в моей шальной жизни было уйма. Я легко впутывался в разные истории и с трудом выпутывался из них.

Мой жизненный путь украшают крутые виражи: пастух и кочегар в мордовском селе; МГУ им. М.В. Ломоносова; редакция районной газеты; заместитель директора коммерческой фирмы; вышибала в одном из столичных кафе; правительственное учреждение на Старой площади в Москве; редакции центральных газет; наркологическая больница; редакции столичных журналов; пресс-секретарь федерального чиновника, реабилитационный центр, редакции журналов...

Эта книга – автобиография, изложенная в виде миниатюр. Сюжеты самые разные – курьезные, трагические, непристойные – на любой вкус и цвет. Говорят, случай правит миром. Не знаю, как насчет мира, но моей жизнью определенно правит случай. Вот об этих случаях – веселых, грустных, трагических – я и рассказываю. В моей книге только то, что я испытал на собственной шкуре: видел, слышал, чувствовал, осязал. Все свои произведения я прожил, пережил, в моих историях нет вымысла.

Личную свою судьбу я утрамбовал в книжку. Что получилось – судить вам. Я же хотел лишь доказать, что и простой человек, *нерусский*, мордвин по крови, с плохой наследственностью, с дурным характером и скверными пороками, а главное, без особого дарования, может написать собственную биографию.

Я думал, что у меня не хватит смелости и наглости рассказать о некоторых эпизодах моей жизни, но я переборол свой страх перед «а что скажут люди?». Поверьте, что прилюдно признаваться в своих грехах – на это нужна смелость.

Важно, что я не маскируюсь под псевдонимом, а пишу под собственной фамилией – ЛЮЛЬКИН.

Да, моя жизнь была далеко не идеальна, но, перефразируя слова Жюльена Сореля, героя книги Стендаля «Красное и черное», могу твердо сказать: «Оставьте мне мою неидеальную жизнь!»

Крест на роду

Прости меня, папа!

Первое, что я мог услышать в младенчестве, когда жадно впивался в мамину теплую грудь, – колокольный звон. Густой, тяжелый колокольный звон мог бы осенить годы моего детства и отрочества, и, кто знает, может быть, судьба моя сложилась бы совершенно иначе. Не такой непутевой, пьяной и греховной она была бы, моя жизнь, но, увы, не случилось той божественной мелодии. Величественная деревянная церковь, возвышавшаяся в центре села, буквально в ста метрах от нашего дома, вспыхнула июньской ночью и в одночасье сгорела. Ходили слухи, будто к этому пожару приложили руки мой отец и его старший брат Борис. Якобы это они, «два нехрестя и хриstopродавца», исполненные богоборческого духа, подожгли сельский храм.

Нет, не с красного, праздничного, воскресного звона началась моя жизнь, а со звуков деревенской гармошки и народной песни «Славное море – священный Байкал!». Помните: «Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко»? Играл на гармошке и всегда пел эту грозную и очень тоскливую песню мой отец Юрий, когда пьяным возвращался со свадьбы или с вечерки домой. Отец воевал с японцами, долгое время служил на Байкале, в его штормовых глубоких водах однажды он чуть было не утонул, и эта песня была его своеобразным гимном.

Я еще издали, через распахнутое окно, слышал звук гармоны и папин хриплый, прокуренный голос – и душа моя съезживалась от страха. Я боялся припадков бешеного гнева у моего отца, пьяным он часто бушевал, и мы с мамой много раз бывали на волоске от гибели.

Помню, днем во дворе зарезали поросенка, а вечером, отведав вкусной селянки и выпив самогонки, отец – опять же во дворе! – чуть не зарезал и мать.

А в другой раз он облил нас керосином и попытался заживо сжечь...

Всякое бывало, а потому с мучительной острой тоской, обмерев от страха, я слушал его пение, пытаюсь понять по силе звучания и тембру его голоса, сильно ли он пьян и будет ли он сегодня буянить и бушевать. И, разумеется, я ничего понять не мог. Хорошо, если в эту минуту рядом была мама.

«Мама, а папа нас не убьет?» – спрашивал я ее, дрожа всем телом. Она крепко прижимала меня к себе, ее тихий ласковый голос: «Не бойся, сынок!» – ее нежные поглаживания по голове немного утешали меня, выводили из иступленного отчаяния, и грозный час появления на пороге нашего дома пьяного отца был уже не столь ужасен.

Но если я был в доме один – я чувствовал себя кругом заброшенным на земле, одиноким, покинутым, незащищенным. Отец с какой-то скрытой болью и мукой, с непередаваемым отчаянием пел о чьей-то загубленной, бродячей жизни, пел с растяжкой, тянул звуки, и от одного его пьяного голоса, по живому резавшего мне сердце, меня охватывал жуткий страх. И я с отчаянием, с тоскучей тоской ждал, когда этот страшный «шевеливающийся вал», о котором пел отец, захлестнет наш дом.

Я был уже большим мальчик, мне было десять лет, и я хорошо знал, каким лютым зверем в пьяном угаре может быть родной и близкий человек – отец. Мне хотелось забиться в чулан, залезть в подпол или под кровать, зарыться куда-нибудь подальше и поглубже, лишь бы не видеть и не слышать пьяного отца.

Понимая, что времени у меня очень мало, с бешено бьющимся сердцем, зная не зная, как защититься от неминуемой грозящей беды, я начинал метаться по дому, по всем его углам.

Первым делом я стремглав бежал на кухню, прятал ножи и вилки, все острое, колющее и режущее, выбегал в сенцы, хватал топор, молоток и железный лом, забрасывал их под крыльцо.

Прятал неподъемный чугунный утюг на углях. Я видел однажды, как отец чуть было не убил этим утюгом нашего соседа дядю Федю, когда тот прибежал в наш дом на мамин пронзительный, молящий о помощи крик: «Караул! Спасите!»

И обязательно прятал бритвенный станок с изогнутой перламутровой ручкой и острым лезвием, этой крайне опасной штукой отец не раз пытался зарезать маму. Помню, он еженедельно правил эту бритву на широком красноармейском ремне из кожи, висевшем в углу у входной двери. Отец правит бритву, а я в эту минуту с испугом думаю: «Опять папа на маму бритву точит!» Этот бритвенный станок я, кстати, берегу до сих пор. Единственная вещь, которая осталась в память о моем грозном, буйном отце.

Я прятал, прятал и прятал...

А тем временем звук гармонии и голос отца звучали все громче и громче. Вот отец уже совсем рядом, вот он тяжело поднимается по скрипучим ступенькам крыльца. Отец еще некоторое время сидит на крыльце, но уже не играет на гармонии и не поет, а лишь грубо ругается, харкает и матерится. Я слышу, как он сморкается, а он всегда сморкался в ладонь, стряхивая жирные сопли на землю и вытирая ладонь о штанину. Что с него взять? Сиволапый он у меня был мужик – родной отец...

Но вот я услышал тяжелый топот его ног в сенцах, дверь настежь распахивается, в доме запахло густым вонючим смрадом перегара – и мое маленькое бедное сердце сжимается. Поверьте, что от одного только звука его шагов в кирзовых сапогах, окованных гвоздями, сначала по ступенькам крыльца, а затем в сенях, можно было сойти с ума. На моем месте любой другой мальчик давно бы описался и обкакался от страха, я же переносил все очень стойко, хотя мне и было очень страшно...

Отец садился у стола в передней комнате, начинал шарить по карманам в поисках курева, непослушными, трясущимися руками лепил самокрутку из обрывка газеты и долго курил, полностью сокрытый клубами табачного дыма. Но вдруг он вставал на ноги, разгонял густой махорочный дым рукой, словно театральный занавес, и семейное представление начиналось. Страшное, жуткое, трагическое представление. Со слезами, кровью, мордобоем, а очень часто и поножовщиной...

«Папа! Папа! Не трогай маму!» – вопил я сквозь слезы, пытаюсь слабыми ручонками защитить маму, оттолкнуть от нее взбесившегося отца, который наседали на нее с налитыми кровью, воспаленными глазами. Но я был бессилен что-либо изменить. Кстати, я, кажется, единственный, кто в селе называл своего отца папой. Ибо «папа» по-мордовски означает очень неприличное слово, а поэтому все говорили – «тетяй».

По малолетству отцовскую гармонию я воспринимал не как предвестницу беды, а как ее виновницу. Где гармонь, там всегда был пьяный отец. И однажды я взял и разломал папину гармонию. Разбил ее в щепки! Вдребезги! Я был страшно рад, что больше не увижу, как короткие заскорузлые пальцы отца, желтые от дешевой махорки, бойко прыгают по ее клавишам, извлекая ненавистные звуки.

И вы думаете, отец в отместку чуть было не убил меня за то, что разломал его любимый музыкальный инструмент? Нет и нет. Справедливости ради скажу, что он ни разу в жизни пальцем меня не тронул, не дал ни одной затрещины, хотя моего четырнадцатилетнего брата по пьяни чуть было не зарезал. Витька чудом спасся от озверевшего, невменяемого отца, выпрыгнув в спасительное окно.

Что греха таить, отец мог бы, наверное, убить и меня. По крайней мере, когда мать однажды при мне спросила его: «Вот ты, Юрик, зарежешь меня, а Генка останется сиротой. Тебе разве не жалко его будет?» – «Генка сиротой не останется! – хмуро ответил отец. –

Видишь электросчетчик на стене? Выну пробки и засуну в гнезда его пальцы. Умрем все, не беспокойся!»

И был он в эту минуту совершенно трезв.

Мой отец повесился, когда мне было тринадцать лет. И я уже никогда не узнаю, действительно он намеревался исполнить свою угрозу и убить нас с мамой или же только хотел попугать. Это уже навсегда останется для меня загадкой.

Когда мертвое тело отца сняли с петли и босоногого положили на полу в сенях, я увидел, что он был шестипалым. Что это было? Пустяковый телесный изъян? Или это некий упреждающий симптом, предвестие моего умственного расстройства? Я очень сильно рыдал по нему и плакал. Видеть мертвого отца – это был самый скорбный час моей жизни. Ведь, когда отец был трезв, он был хорошим и добрым, и мне было очень и очень жалко его, я его очень любил. А может быть, шестипалость – это действительно «ведьмина метка», «знак дьявола»?

Ведь, сказать по правде, бесноватым был у меня отец, нередко он вопил страшным голосом. В пьяном бреду ему казалось, что его преследует целое скопище чудовищ, и он буквально ошалевал от страха и ужаса.

Вот я и говорю: все стены нашего дома были пропитаны страхом и тревогой. Боялись все: и мать, и отец, и я, маленький, ни в чем не повинный мальчик. Так мы все и жили. Как, впрочем, и многие на Руси.

Да, много горя, много страсти приняла моя мать – вспомнить страшно! После смерти отца она уже больше замуж не выходила. «За одного обожжешься – другого как огня боишься!» – так говорила она.

И еще: сегодня я с удовольствием смотрю телепередачу «Играй, гармонь!». Все плохое давно забылось и простилось. Отец мне дал главное – жизнь, а согласитесь, что за этот бесценный подарок можно все простить!

Искалеченная судьба

Однажды отец пришел с работы с большим мотком блестящего серебристого шнура, бросил его в деревянный ящик, где у него хранился всякий хозяйственный скарб, и, вытирая руки грязной тряпкой, сказал:

– Этот шнур мне пригодится!

Шнур ему действительно пригодился. Именно на нем отец и повесился. Папа покончил с собой, когда мне было тринадцать лет.

Ранним утром, 27 июля 1975 года, он обернул вокруг своей шеи блестящий шнур и повис в темных сенях, лицом к заднему крыльцу. И повесился он на том же самом железном ржавом крюку, на котором почти всю зиму висела туша свиньи. Громадная, почти до самого полу, безголовая туша с зияющим пустым животом, с короткими обрубленными ногами. Свиньячья голова с полужакрытыми глазами лежала тут же, на столе.

Мы с дядей Ваней торопливо, судорожно, с дядиными горестными причитаниями: «Ох, Юрик, что ты наделал! Что ты наделал!» – с моими захлебывающимися рыданиями, пытались снять его бездыханное тело с петли из блестящего шнура. И никак не могли развязать и ослабить петлю – так туго затянулся шнур на папиной шее.

Я, почти еще ребенок, снял с петли мертвое тело родного отца. Это было самое сильное потрясение в моей жизни, от которого я еще не скоро оправлюсь, а может быть, не оправлюсь никогда.

Однако, несмотря на мой детский, тринадцатилетний возраст, страшные потрясения в моей жизни бывали и раньше...

* * *

Пожарник – так обзывали меня в детстве мальчишки. Мой отец работал пожарным, вот они и дали мне такое нехитрое прозвище.

У пожарной каланчи, располагавшейся в центре села, через дорогу от нашего дома, висел на ржавом проводе ржавый рельс. В случае пожара оказавшийся поблизости человек должен был бить в этот рельс железным стержнем, висевшим рядом на проводе, созывать народ на пожар. Но видит бог – отроду я не слышал, чтобы кто-нибудь созывал народ на пожар, ударяя в рельс. Никогда. Ни разу. А если и раздавался звон, то это мы, мальчишки, били по рельсу, озоруя...

Но довольно часто ночами нас будил заполошный крик: «Караул! Пожа-а-ар!» – и бешеный стук в дверь или в ближайшее к крыльцу окно. Мать всегда так пугалась, что тут же бросалась в спальню за шкаф, хватала меня в охапку и выбегала вон из дома. К счастью, тревога оказывалась ложной – горел чей-нибудь дом или сеной сарай, и она с облегчением переводила дух, снова укладывала меня спать.

Но чаще всего «Караул!» кричала сама мама, когда ее нещадно бил отец. Напившись до умопомрачения, он дрался с каким-то диким остервенением. Однажды на моих глазах столкнул мать в кучу навоза и бил ее, топтал и бил, топтал и бил, топтал и бил. На голове отца в эту минуту был надет железный шлем пожарного, и он был очень похож на фашиста.

Помню, как мама, избитая и окровавленная, в изорванном платье, валялась на навозной куче...

Отец бил маму до полусмерти, резал и увечил ее, ломал ей ноги... Удивительно, но я ни разу не видел, чтобы отец бил, яростно стегал нашу лошадь с чудесным именем Малинка, с которой, будучи пожарником, отец проводил много времени. Да, бывало, хлестанет в сердцах

кнутом или концом веревочных вожжей, но чтобы бить – долго и яростно – нет, такого не бывало, по крайней мере, я такого не припомню.

Малинку отец любил всей душой, а вот мать мою бил нещадно. У мамы на шее, у сонной артерии, на всю жизнь остался большой шрам – след от ножевого ранения, которое нанес ей мой отец. Он порезал ее на моих глазах, я помнил ее, рыдающую, с ног до головы облитую кровью, но мне, видимо, хотелось забыть эту страшную картину, превратить все в сказку. Легкими касаниями пальцев я щупал розоватый, еле заживший шрам и спрашивал жалобным голосом:

– Это Баба-яга вцепилась в тебя клыками, высасывала твою кровь, да?

– Да, Баба-яга, – отвечала мама.

– Болит?

– Нет, не болит, – с улыбкой мотала она головой.

Улыбаясь, я целовал маму в шею, в свежий, еле-еле зарубцевавшийся шрам.

На кухне над железным умывальником висело небольшое квадратное зеркальце с полочкой, на полочке – чашечка с куском хозяйственного мыла, фарфоровая чашка для бритвы с торчащим в ней помазком и бритва в треснувшем пластмассовом футлярчике.

Когда отец был трезв, он каждое утро брился опасной бритвой со стальным лезвием и перламутровой ручкой. Этой бритвой отец в пьяном угаре и полоснул маму по шее.

Бывало, я брал пластмассовый футлярчик, доставал из него бритву и долго-предолго рассматривал ее. Лезвие бритвы было острое-преострое, иногда на ней были остатки застывшей пены, я представлял, как лезвие режет мамину или мою шею, и чувствовал, как по моему телу волной пробегает дрожь. Это был своего рода сеанс садомазохизма, так бы теперь я это назвал, но тогда этого слова я, разумеется, не знал.

Неудивительно, что большая часть детства – моих воспоминаний – в основном сводится к тому, что я стою и наблюдаю за тем, как отец бьет мать. Удары, оскорбления, ругательства, плевки сыпались безудержно, друг за другом.

Я всегда защищал мать, но что я мог сделать? Я был слишком мал – отец отшвыривал меня от мамы одним несильным толчком.

Отец постоянно кошмарил нашу жизнь, а потому мы с мамой жили в беспросветном страхе. Я никогда не забуду то омерзительное чувство тревожного ожидания, с которым ждал возвращения отца с работы. Услышав на улице папин пьяный голос, я спрашивал маму с мольбой в голосе:

– А папа нас не убьет?

Это был самый часто задаваемый вопрос моего детства.

– Не бойся, сынок, не убьет... – всякий раз отвечала мама, однако твердой убежденности в ее голосе я не чувствовал.

– Мама, а почему у других папы не дерутся? С топором и ножом не бегают? У Сашки, у Толика? Почему, а? – допытывался я.

– Вот таким он у тебя уродился, папа твой. И ничего тут не поделаешь – надо терпеть, – отвечала она.

И мы терпели.

* * *

Я рос умным мальчиком и прекрасно понимал, что семейные скандалы в нашем доме рано или поздно закончатся смертью или убийством. Исход скандалов всегда один: смерть или убийство.

В родном доме я не чувствовал себя в безопасности – вот в чем была трагедия моего детства. Вне опасности я чувствовал себя лишь тогда, когда, спасаясь от пьяного буйства отца, мы с мамой убегали из дома. Бывало, уже темно, на улице мороз, снег, холод несусветный, а

мать, босая, полуголая, плачущая, с надрывающимся от плача ребенком на руках, бежит куда глаза глядят, лишь бы подальше от своего буйного, бесноватого мужа...

Ох, где мы только не прятались! В нашем селе было более шестисот дворов, и, кажется, не было дома, где мы с мамой не ночевали. Все сельчане, за редким исключением, давали нам с мамой приют. И все же маме не хотелось лишний раз беспокоить людей, и мы скрывались то в хлеву, то на сеновале, то в бане, то в погребе, то на чердаке, то в стогу сена...

Укрывались мы и в самой пожарке, в загоне, куда отец ставил Малинку на ночь. Мама кидала в стойло охапку сена и укладывала меня спать, накрыв овчинным тулупом. Какое-то время я наблюдал, как Малинка жевала сено, роняя пахучие пучки изо рта, как стремительно, одним рывком наклонялась, поднимала уроненный пучок. И я тихо засыпал...

* * *

Приглашаю вас на минутку зайти в наш дом.

Справа – маленькая кухонька, чулан, как мы ее называли, далее – большая русская печь, а за печкой – спальня, отгороженная шифоньером. От угла шкафа до русской печки протянута ситцевая занавеска.

Этот темный завешанный угол за платяным шкафом, где стояла двуспальная кровать, а на стене висел фальшивый гобелен, изображавший семейство лосей – лося, лосиху и лосенка, – и стал самым жутким местом моего детства.

Застенок – так я и называл нашу спальню.

Вернувшись с работы, с пьяным и злым лицом отец появлялся в проеме меж шифоньером и печкой, резко раздвигал ситцевую занавеску, словно театральные занавесы, и начинал свое буйное представление. Страшное, жуткое представление. Хотя нет, подождите, я немного поспешил...

Отец, придя домой в стельку пьяный, сначала садился на деревянную лавку у стола, в передней комнате, доставал из бокового кармана испачканного грязью пиджака початую бутылку самогона, заткнутую бумажной пробкой, разок-другой стучал кулаком по столу, требуя, чтобы мать принесла ему всегдашнюю его закуску. Мать быстро ставила на стол хлеб, яйца, лук и соль.

Он допивал бутылку, жесткими, заскорузлыми, негнушимися пальцами скручивал махорочную сигарку из обрывка мятой газеты, доставал из кармана мятый коробок спичек, закуривал.

Руки его не слушались, поэтому зажечь спичку ему удавалось не сразу, а лишь после третьей или четвертой спички.

Закурив, отец долго сидел у стола и дымил, дымил. Он покачивался из стороны в сторону, покачивалась во рту и облюбованная самокрутка – вверх-вниз, вверх-вниз...

Изредка он сморкался в ладонь, стряхивал жирные сопли на пол, вытирая ладонь о штанину.

Но самогон брал свое, и вот отец уже дремал, оцепеневший, с поникшей головой, бормотал нечленораздельные слова, а в опущенной руке его по-прежнему тлел окурок. Иной раз отец поднимал голову, косо, исподлобья взглядывал на меня. Я вздрагивал от этого мутного, невидящего взгляда, так страшно мне становилось, и быстро-быстро убегал из передней комнаты в спальню, ложился на кровать, крепко прижимался к матери.

В доме ненадолго устанавливалась тишина. Но я прекрасно знал, что будет дальше, ведь так уже было миллион раз. Сейчас огонек папиросы ужалит руку отца, он проснется, вяло встряхнет рукой, поднесет сигарку к губам, два-три раза затянется, швырнет окурок на пол, шатаясь, встанет, и начнется кошмар.

Чтобы оттянуть момент пробуждения, я подбегал к отцу и осторожно, тишком вынимал из его руки тлеющий окурок. Это обеспечивало нам с мамой еще несколько минут тишины.

А порой отец, напившись мертвецки пьяным, грузно, с грохотом падал на пол, почти всегда – в собственную блевотину. Какое-то время, ворча и корчась, он катался по полу, матерился и зверски скрежетал зубами, словно грыз осколки битого стекла. Скоро сквозь матерную ругань и бормотание отца я слышу молитвенные слова матери:

– Господи-и-и! Спаси и помилуй нас!

Мать молилась боженьке...

А я тем временем жду, жду мучительно, с дрожью во всем теле, когда из передней комнаты в спальню войдет пьяный отец. Крепко прижавшись к маме, обхватив ручонками за шею, я шепчу:

– Мама... Мамочка... Мама...

Так проходит какое-то время.

Вдруг в передней что-то сильно грохнуло – это отец что есть силы стукнул кулаком по столу. Громыкнул опрокинутый стол, зазвенела бутылка, тарелки, стаканы... Снова раздался мат-перемат.

Все! Отец проснулся и сейчас начнет бушевать! От страха у меня перехватывает дыхание.

Я слышу, как отец встает со скамейки, идет из передней комнаты к нам в спальню, все явственнее слышны его тяжелые, грозные шаги в кирзовых сапогах, окованных гвоздями, и с каждым его шагом мне становится все страшнее и страшнее. Изю всех сил я прижимаюсь к матери.

Раздвинув занавеску, отец встает в проеме между шифоньером и печкой: черная рубашка вылезла из брюк, в правой руке у него нож, острая бритва или сапожное шило, второй он держится за угол шкафа, чтобы не упасть. От отца несет сивушным перегаром, табаком, луком, но все перебивает запах блевотины...

Свесив низко голову на грудь, он смотрит на нас из-под грозно нахмуренных бровей, так что вместо глаз виднеются одни белки. Освоившись с темнотой, отец подходит ближе к кровати, на которой лежит мама, а рядом – я, и начинает угрожающе махать перед лицом матери лезвием ножа, бритвы или сапожным шилом.

Отец сдергивает одеяло и отшвыривает в сторону. Мама лежит, выставив руку ладонью вверх, другой рукой она прижимает меня к себе. Отец хватает ее за вырез ночной рубашки, другой рукой изо всей силы бьет по лицу.

Я иступленно кричу, реву во весь голос:

– Папа! Па-па-а-а-а!.. Не надо-о-о!

«Папа, не надо! Не надо, папа!» – это был вопль моей души, моей затапываемой души.

– Убей! Режь! Жги! Только не мучай! – срывается в крик мама. Отец хватается за горло; я слышу хрипкое прерывающееся дыхание. Отец хочет зажать ей рот, чтобы мать не могла кричать, но она уже и так не кричала, а только металась, и вертела головой из стороны в сторону, и надрывалась от рыданий...

В спальне становилось так страшно, что лоси на гобелене от страха разбежались, по крайней мере, в темноте я их не видел.

А бывало, отец приходил в спальню с топором в руке, и я тут же представлял свиную тушу, которая висела в сенях. Я не раз видел, как отец одним-двумя страшными ударами раскраивал голову свиньи на две половины. И представлял себе, как отец ударами топора сейчас отрубит нам с мамой головы, а потом раскроит их на две половины. Я воображал, как две половины моей головы – с одним ухом, с одним глазом, с одной ноздрей – валяются на полу.

А однажды, помню, отец пошел еще дальше в своем насилии и издевательствах. Он прихлопнул в спальню канистру с керосином, густо плеснул вонючей жидкостью на кровать, где мы лежали с мамой, достал коробок и давай чиркать спичками. Чирк да чирк, чирк да чирк...

Пока отец валялся на полу в блевотине, коробок промок, и спички не загорались, ломались одна за другой... А может быть, это боженька услышал мамину молитву и не давал спичкам зажечься в руках обезумевшего отца. Чирканье спичек вызвало вспышку сознания, и я вспомнил горящую женщину, которую видел три года назад, когда мне было всего лишь десять лет...

* * *

Мама работала уборщицей, мыла полы в конторе совхоза, расположенной на окраине села. Она ходила «на уборку» ежедневно, после семи часов вечера, когда все механизаторы и животноводы расходились по домам. Почти всегда она брала меня с собой, и пока мама орудовала ведром и половой тряпкой, я бродил по машинному двору, где было много чего интересного для любопытного мальчишки.

В одноэтажном бревенчатом здании конторы мы с матерью ночевали много раз, спасаясь от разбушевавшегося отца. В кабинете директора стоял исполинский стол с зеленым сукном, на который мать укладывала меня спать, постелив ватную фуфайку. Сама же она ложилась на стулья, установленные в ряд у стенки, подложив под голову руки.

Однажды вечером идем мы с мамой в контору, рядом с нами бежит и Тузик, как всегда, что-то вынюхивая в земле...

Спустившись по извилистой тропинке, по склону глубокого оврага, не торопясь, поднимаемся на другой, противоположный склон. Тут-то и раздался ужасающе жуткий вой. Это был не человеческий вой, уж я-то знаю: отец, напившись, начинал вить – страшно, по-звериному, но все равно можно было узнать, что это человеческий вой. А тут донеслось нечто страшное, невообразимое...

Тузик испуганно завизжал, прижавшись к земле, рывком бросился к матери, пытаясь спрятаться в ее ногах.

Я же побежал по тропинке по склону оврага наверх – мальчишеское любопытство оказалось сильнее страха. И тут на краю оврага я увидел что-то огневое, красное, взлохмаченное, словно билась большая огненная птица. Казалось, сейчас она взмахнет огнекрылыми руками и взлетит – так это было. Но птица упала, и упала у самых моих ног.

Я стоял и смотрел во все глаза, не понимая, что это... кто это...

Это была женщина. Пылающая женщина.

Охваченное пламенем женское тело извивалось в невыразимых муках. Вот так же судорожно и дико извивались обрубки земляного червя, когда я, бывало, случайно перерезал его лезвием лопаты.

Женщина билась о землю в конвульсиях, иступленно кричала, выла и царапала себя руками, судорожно шарила ими, будто что-то искала в траве, она простирала руки в мою сторону, словно намереваясь схватить меня. Она приподняла голову, попыталась встать на четвереньки, но сил, видимо, не хватало, и она поползла. С диким напряжением, опираясь на руку, женщина тащила куда-то вперед свое обгоревшее тело, словно из последних сил стараясь вырвать, отнять его от смерти. Она беспрерывно выла, протяжно, громко кричала каким-то животным, отчаянным криком – без слов.

Сказать, что я испытал шок, – ничего не сказать. По-моему, в русском языке нет слова, которое могло бы точно передать тот ужас, который я испытал при виде женщины, погибавшей на моих глазах мучительной смертью. Вся эта картина – и крик женщины, и горящее тело, и пылающая одежда, и безумный взгляд ее – повергла меня в состояние дикого ужаса.

– Мама-а-а, мама-а-а! – побежал я прочь, навстречу маме, с трудом поднимавшейся по склону оврага. Я бежал и плакал, но не от боли, а от пережитого, от ужаса и страха, от жалости к женщине...

Как потом оказалось, та облила себя керосином и подожглась.

* * *

...И в ту же секунду, когда отец облил нас с мамой керосином и взялся чиркать спичкой, я понимаю, что сейчас такие же смертные муки, как той охваченной огнем женщине, предстоит испытать и нам с мамой.

Первое время мама лежала в оцепенении, словно ничего не понимала и не видела, что происходит вокруг нее, только перебирала дрожащими пальцами ворот ночной рубашки. Но в жуткую минуту, когда отец зачиркал спичкой, мать опомнилась, вскочила с кровати и изо всей силы, на которую она была способна, со всей злостью, накопившейся в ней за долгие годы издевательств, мучений и страданий, толкнула отца в грудь.

Отец не устоял и с грохотом повалился навзничь. Падая, он опрокинул стеклянный буфет, и вся посуда – чашки и тарелки – разбилась вдребезги. С панической поспешностью, под грохот разбивающейся посуды мать вытолкнула меня из спальни с криком: «Беги, Гена!» – и сама тут же выскочила вслед за мной.

Мы чудом спаслись от мучительной казни – сожжения.

* * *

Очень чувствительный мальчик, я рос в атмосфере постоянного невроза. Вот поэтому я вырос невротиком, у которого приступы нежности будут порой оборачиваться неслыханной жестокостью. Кто-то заметил, что невротики – соль земли, что именно они создали религии и шедевры. Я, конечно, шедевр не создам, но именно тогда, в ту ночь, когда отец облил нас с мамой керосином и попытался сжечь, у меня и появилось желание писать.

На следующий день я взял ручку и бумагу и написал об этой ночи – коряво, неумело, невразумительно, но я выплеснул весь пережитый ужас, накопившийся в моей душе. Иначе весь этот ужас разорвал бы меня на куски. Исписав несколько листков простыми и искренними словами, я почувствовал, что мне стало легче...

Да, спичка в руке отца в ту ночь не зажглась, зато в душе моей воспламенилась пусть и неяркая, но «божья искра», и меня потянуло к перу и бумаге.

Думаю, что именно в эту ночь я родился как журналист.

Не смейтесь, но в детстве я долго писался в кровать. Есть версия, что если у ребенка жизнь настоящая на страхе и ужасе, то он поневоле будет писать, а повзрослев, обязательно будет писать.

И последнее: недавно обо всем пережитом мною в детстве я рассказал доктору психологических наук N. Я сказал ему, что отец, несмотря на свой буйный характер, ни разу не ударил меня, не дал мне ни одного подзатыльника. Все воспитание он поручал матери.

– Отец вас пальцем не тронул, но он искалечил вашу судьбу. Жизнь, начавшаяся такими потрясениями, обязательно закончится катастрофой! – убежденно заявил ученый муж.

Что ж, поживем – увидим...

«Я твою маму зарежу!»

Перед вступительными экзаменами в университет абитуриенты проходили творческий конкурс, писали сочинение на тему «Почему я решил стать журналистом?». В своем сочинении я написал что-то о романтике пыльных дорог, не забыл упомянуть и коммунистическую партию. «Мы пишем по велению сердца, а сердца наши принадлежат партии», – процитировал я, помню, слова Михаила Шолохова. Кстати, выдержки из моего сочинения потом опубликовала факультетская газета «Журналист».

Но в университет я поступал не из-за романтики и тем более не по велению партии. В университет меня заставил пойти учиться... отец, хотя его уже пять лет как не было в живых. Отец повесился, когда мне было тринадцать лет, и я до сей поры не знаю, счастливое для меня это число или несчастливое. Я хотел научиться писать, чтобы описать свое трагическое детство, но, увы, писать я толком так и не научился, а значит, все было зря?

На первом курсе университета я попытался вспомнить все сцены семейных скандалов, составил список, где отмечал все подробности той или иной семейной сцены, отдельные детали, фразы, те или иные подробности. Получилась толстая общая тетрадь, где каждой сцене была уделена лишь одна страница, а в тетради той было 365 страниц.

Как-то мои однокурсники – Мишка Алов и Костя Горлов – наткнулись на эту тетрадь и с издевательским хохотом спросили: «Генка, у вас что, каждый день в семье были скандалы?»

Я с гневом вырвал из их рук общую тетрадь, разорвал в клочья. А зря. Как бы она мне сейчас пригодилась!

Получилась какая-то дурная бесконечность кошмара, которая мучила меня – даже во сне.

Я не стану томить вас дурной бесконечностью кошмара, поведаю вам лишь один день из моей жизни, когда я увидел все дьявольское уродство этого мира. Впрочем, нет, об этом страшном дне в моей жизни я рассказывать не буду. По крайней мере, пока.

Ограничусь штрихами к портрету отца.

* * *

Мой отец – сорокалетний мужик, угрюмый и подавленный. Суровый и молчаливый, когда был трезв, а трезвым он бывал очень редко.

Отец часто пил с друзьями, и часто эти попойки переходили в драки и поножовщину. Я никогда не слышал, чтобы отец философствовал. Лишь однажды, помню, возник спор на тему «С чего начинается Родина?». Но, как и обычно, кончился этот «философский» разговор кровавой дракой.

* * *

«День прошел – и слава богу!» – говаривала моя мать, ложась спать. Словно она каждый раз сомневалась, что день будет прожит. Отец несколько раз на моих глазах смертным боем бил мою мать – не зря его называли «бесноватым». А мать мою так и звали – «великомученица Ольга».

* * *

В углу висел широкий красноармейский кожаный ремень, который отец часто использовал для правки опасной бритвы с ручкой из искусственного перламутра. Той бритвы, которой он то и дело пытался зарезать маму.

* * *

Мама долго, до самой поздней осени, не вставляла вторую раму в одно из окон. Чтобы было, куда выбегать в случае чего. Мы его так и называли: «спасительное окно». Она работала уборщицей в конторе совхоза, и мы часто ночевали там, спасаясь от пьяного отца. Мать укладывала меня спать на большой директорский стол с ножками в виде львиных лап. Ночевать в правлении совхоза мне было отчего-то не так страшно, как в бане. И черти тут, конечно, были ни при чем. Просто от нашего дома до здания конторы путь был неблизкий, и отец, будучи пьяным, просто сюда бы не дошел.

* * *

Что удивительно: отец ни разу не ударил меня, не дал мне ни одного подзатыльника. «Если я его ударю – убью!» – говорил он матери. Ей он и поручал мое воспитание. Но отец редко и обнимал меня. Было ли у него сердце? Было! Утром он просил у матери прощения, мама прощала его, и в доме снова воцарялась тишина. До следующей попойки.

* * *

Отец страдал остеохондрозом. Приступы болезни случались всегда неожиданно. Бывали дни, когда он не мог ни встать, ни лечь. Меня это радовало, потому что в эти дни нам была обеспечена спокойная жизнь.

* * *

Отец пил и почти не закусывал. Кусок хлеба, посыпанный крупной солью, лук или сырое яйцо – вот его обычная закуска. Неудивительно, что он быстро пьянел.

* * *

Однажды я нашел отца валяющимся на снегу. «Папа, папа, пойдем домой», – затормошил я его. Отец завозился на снегу, привстал, тупо глянул на меня, узнал: «А, это ты, сынок?» – высморкался, утерся рукавицей, вторую рукавицу он где-то потерял.

* * *

Отец умер. И теперь я никогда не узнаю, действительно он намеревался исполнить свою угрозу и убить нас с мамой или только хотел испугать. Это уже навсегда останется для меня загадкой.

* * *

Отец мог убить меня еще в утробе матери. Она была на восьмом месяце беременности, когда отец, одурманенный самогоном, погнался за ней с ножом. Мама бежала по пустынной деревенской улице, инстинктивно прикрыв руками огромный живот. Точнее, не бежала, а по-утиному переваливалась с ноги на ногу, задыхаясь, не в силах крикнуть, позвать на помощь. И в ту секунду, когда на маму пахнуло сивушным перегаром и, казалось, удар был неминуем, мой ангел-хранитель швырнул под ноги озверевшему отцу камень. Он споткнулся и упал, до крови разбив лицо...

* * *

Мама оторвала последний листок календаря. Настала новогодняя ночь. Чудесная, сказочная ночь, пусть и без елки в доме. Я наотрез отказывался идти спать: безудержно рыдал и плакал. Боялся, что мама не разбудит меня, когда Дед Мороз и Снегурочка придут в гости. Я живо представлял, как Дедушка Мороз, стряхнув рукавицей сосульки с усов и бороды, торжественно провозгласит: «С Новым годом!» И достанет из красного мешка конфеты. Самые-самые вкусные... Но сон одолел-таки, и мама на руках отнесла меня в спальню, дав обещание разбудить, как только сказочные гости явятся...

А ночью меня разбудил грохот и шум. Я вскочил с постели и, задыхаясь от радости: «Дед Мороз пришел!» – босиком зашлепал в заднюю комнату, где горел яркий свет.

– Мама-а! – кинулся я к матери, пытаюсь слабыми ручонками защитить ее от пьяного отца.

– Иди спать! – толкнул меня отец и добавил: – Я твою маму зарежу. Тихо и небольно. Не плачь!

Он наклонился ко мне лишь на секунду, но это мгновение было спасительным. Мама вырвалась из пьяных рук и выскочила в дверь. Вслед за ней опрометью выбежал и я. Я бежал босиком по глубокому снегу, но – странное дело – холода не чувствовал.

...Цепочка красных пятнышек крови на белом снегу – одно из моих ранних воспоминаний. Я снова вижу, как мама стоит посреди улицы, держит меня на руках и, обливаясь слезами и кровью, успокаивает: «Не плачь, сынок. Дед Мороз придет! Обязательно придет!»

* * *

Все! Хватит! Надоело!

Я сшиб ударом руки опостылевшие шахматные фигурки, строго стукнул кулачком по доске.

– Мама, купи мне братика!

Так в гневе делал отец, сметая со стола пустую поллитровку, стаканы и требуя денег.

Мама, уловив, что я копирую пьяные жесты отца, сердито пригрозила: «А ну-ка, где ремень?!» – и сделала вид, что идет в угол, где рядом с вешалкой для одежды висел широкий красноармейский ремень, на котором отец частенько правил бритву.

Я тут же юркнул под стол и, чувствуя себя в полной безопасности, снова жалобно, со слезой заканючил: «Купи-и-и братика...»

У меня уже были и брат, и сестра, но они жили в городе и приезжали лишь на выходные. Они были большие, и с ними ни в прятки не поиграешь, ни в лошадки. Только и знают, что

лупят меня. Вот если бы у меня был братик, такой же маленький, как я. Или пусть даже сестренка. Я бы... я бы... я бы на руках их носил. Вот!

Но на маму столь веский аргумент не подействовал. «Когда-нибудь купим...» – сказала она.

Я строптиво затопал ножками.

– Нет, я хочу сейчас! Пойдем к тете Вале, она девочку купила. Попросим – и она отдаст ее нам.

У тети Вали детей было так много, что у меня и пальчиков на руках не хватало, чтобы сосчитать их, и потому был уверен, что она отдаст нам девочку задаром. Что ей, жалко, что ль?

– Ну коли бесплатно, тогда пойдем, – согласилась мама.

Мы взяли конфеты, банку вишневого варенья и пошли в соседний дом, где жила тетя Валя.

Дети, узнав цель нашего прихода, обступили деревянную люльку, в которой пускала пузыри «купленная на базаре» девочка, и в один голос заявили: «Мы Маринку не отдадим!»

Тетя Валя, видя, что я от расстройства вот-вот зареву, предложила взять взамен моего одногодку Валерку.

Весь вечер я убажывал своего друга. Выложил перед ним все свои немудреные игрушки. И все с одной целью: чтобы Валерка согласился остаться у нас не только на одну ночь, как мы договорились с тетей Валей, а навсегда. Валерка, которого я до икоты напичкал конфетами, такое согласие дал. И я заснул счастливый, крепко обняв своего нового «братика».

Увы, недолго длился наш безмятежный сон. Поздно ночью пришел отец, опять вдребезги пьяный, и устроил скандал. По словам мамы, он куда-то уезжал «далеко-далеко» (на самом деле отец сидел пятнадцать суток в районном КПЗ). И вот он вернулся с твердым намерением отомстить маме за то, что она, не стерпев издевательств, посадила его в каталажку.

Мама вышла в сени, открыла отцу дверь и снова вернулась в спальню. Вслед за ней прихлопнулся и отец. Он загородил своим могучим телом вход в спальню, скрежетнул зубами:

– Ну, сволочь, молись!

В руках он сжимал складную бритву.

Отец рывком стянул одеяло, скинул на пол.

– Детей только не трогай... – взмолилась мама.

– Молчи, сволочь! – Лезвие бритвы молнией сверкнуло у лица матери. – Нет, ты так легко не сдохнешь! – Смачный плевок ей в лицо. – Я тебе пострашнее казнь устрою!

Отец оттолкнулся от шкафа и, покачиваясь и приговаривая: «Я тебя сейчас сожгу, шкура!» – вышел в сени.

Скоро он вернулся. С канистрой в руке.

Отец плеснул горячей жидкостью на маму, на ее голову, грудь, плечи. В спальне сильно запахло вонючим керосином. Быстро, в два-три хлопка ощупал себя, но спичек в кармане не оказалось. Он повернулся, чтобы пойти за спичками, и тут мама вскочила с постели и изо всей силы ударила его в спину. Отец не удержался на ногах, грохнулся на пол, пока же поднимался, матерясь и ругаясь на чем свет стоит, мама была уже на улице.

Я взял Валерку за руку и потащил его с кровати. Но он лишь сильнее ревел и глубже забивался в угол. От страха он, кажется, потерял рассудок. С большим трудом мне удалось выволочь его из спальни, и мы выбежали из дома. Мимо отца, который сидел за столом, разговаривая сам с собой и провожая нас тяжелым помутневшим взглядом.

Наутро мы с мамой вернулись домой. Отец как ни в чем не бывало лежал на кровати поверх одеяла, в одежде и сапогах, накручивая на указательный палец правой руки локон. Этот жест значил – он в мирном расположении духа и совершенно трезв. В доме снова воцарилась тишина и покой.

А Валерка с той ночи стал заикой. На всю свою оставшуюся жизнь.

* * *

Таких историй моя память хранит немало. Не детство, а сплошной кошмар, по сравнению с которым «кошмар на улице Вязов» – детский лепет. Вечные побои, вечный мат, вечная блевотина, которую мама оттирает с пола, с одежды отца. Как себя помню, я ни разу не сказал: «Доброе утро». Вместо приветствия я спрашивал маму с тоской в голосе: «А папа сегодня опять пьяный придет?»

– Эй, Баргузин, пошевеливай вал... – стоило мне услышать непонятные растянутые слова его любимой песни, которую он во весь голос распевал на улице, – и на сердце у меня становилось убийственно тоскливо. Отчаяние охватывало до самых пяток.

* * *

Как сейчас помню жаркий летний день – 27 июля 1975 года. Отец лежит на полу навзничь, раскинув руки, только что снятый с петли. В полнейшей неподвижности. Я сижу рядом с ним, с его безжизненным телом, и реву, реву, реву. Слезы застыли глаза. В какой-то момент мне показалось, что все это мне снится. Я поднимаю глаза, чтобы проверить, не сон ли это. Считаю пальцы на босой ноге отца: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть! Похоже, я сплю. Снова пересчитываю. И снова – шесть! Я чуть не кричу от радости, значит, я сплю, значит, отец жив! У него, я знаю точно, всегда было по пять пальцев на ногах. Но в ту минуту, как я убеждаюсь, что не сплю, что этот кошмар – не сон и люди, собравшиеся вокруг, толпятся наяву, меня охватывает ледяной ужас: раз я не сплю, значит, я спятил.

Может быть, я и взаправду сошел бы с ума, если бы врачиха, как я называл фельдшерицу тетю Шуру, не сделала мне какой-то успокоительный укол. Все дни похорон я был в каком-то трансе. Не помню ни лиц, ни разговоров. Помню лишь, что, проснувшись на другую ночь, обомлел. Кот Васька, любимец отца, лежал в гробу, в ногах покойника – черный пушистый комок на белом саване. А баба Клава, которая не побоялась нарушить божий закон и до утра отпевала самоубийцу, была слепа от роду. Я взял кота и отшвырнул его на пол. Баба Клава ничего не заметила и продолжала читать молитвы.

И еще в память врезались две фразы, сказанные кем-то из толпы в адрес моей матери:

– Чай, Ольга рада-радешенька, что повесился он...

И другая:

– Ох, вряд ли Гена будет счастлив, если у него такое кошмарное детство...

Отравитель

Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя теши; игрушки! Да, пожалуйста, что и игрушки!

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание»

Случилось это омерзительное событие в подростковом возрасте, когда я еще не имел своего имени и все друзья звали меня Юриком, по имени моего покойного отца, хотя настоящее имя мое – Геннадий. Длилось это событие всего с минуту, не больше, но оно могло резко переменить мою судьбу, пустить ее под откос...

В седьмом классе на уроках химии под руководством нашей учительницы Клавдии Яковлевны Мироновой мы проводили всякого рода опыты и эксперименты. Но однажды я захотел провести невиданный и очень страшный эксперимент самостоятельно, без всякого контроля со стороны химички.

Я бы назвал это так: эксперимент на проверку своих человеческих свойств.

А началось все с маленькой коробочки... Она стояла в кабинете химии в стеклянном шкафу, где в баночках, склянках и пробирках хранилось много всяких химических препаратов разного цвета и калибра: твердых, жидких, порошкообразных. Шкаф этот по чьему-то недосмотру на замок не закрывался, подходи и бери любую склянку или пробирку.

Да, сначала я обратил внимание на небольшую пластмассовую коробочку, светло-желтую, с отвинчивающейся крышечкой, без всякой бумажной наклейки. Она мне очень понравилась, и я подумал: а не украсть ли ее? И однажды, уловив момент, когда в классе никого не было, я взял ее с полки шкафа, открыл ее – в ней оказался какой-то белый порошок.

«Интересно, ядовитый этот порошок или нет? Надо подсыпать в питьевой бак и проверить», – вот первая мысль, которая с ходу пришла мне в голову. Причем я не вздрогнул от испуга от этой жуткой мысли, воспринял ее вполне спокойно: «Да, надо проверить, и надо все хорошенько обдумать».

И я поспешно поставил коробочку на место, чтобы не дай бог кто увидел, что она была в моих руках.

В тот же день я побывал и в школьной раздевалке, где на деревянном столе стоял оцинкованный двухведерный бак с питьевой водой с краном и тут же алюминиевая кружка на цепи. Ученики и ученицы забегали сюда попить воды, старшеклассники же порой прибегали, чтобы смыть кровь или омыть ссадины, полученные в драке.

Тщательно осмотрел я и темную захламленную кладовку за дощатой перегородкой, где уборщицы Ляпа, прозванная так из-за плохого произношения слов и сильного заикания, и Прасковья (по-деревенски – Проску) хранили свою утварь: ведра, тазы, швабры, веники, половые тряпки. И даже украдкой скользнул в кладовку, чтобы проверить, можно ли в случае чего там спрятаться, пересидеть, если вдруг кто надумает прийти в раздевалку в тот момент, когда я уже высыплю порошок в бак.

«Спрятался, будто крысенок», – подумал я, стоя за дверью в каморке.

Так темные силы затолкали меня в темную захламленную каморку, где всегда стояла вонь прелого, сырого тряпья.

Отравить воду в школе – уже скоро эта ядовитая мысль так крепко втемяшилась в мою голову, что ни о чем другом я уже думать не мог. Скоро я понял, что от этой задумки мне уже не отвяжется и что нельзя долго мучить себя этой гадкой мыслью, надо решаться, и чем скорее, тем лучше – сегодня или завтра, не позже. Слишком она страшная, эта мысль, чтобы долго носить ее в себе. Только как это сделать – отпроситься с урока или на перемене?

«Да, можно отпроситься с урока пописать, но тогда я сразу попаду в число подозреваемых, и меня быстро вычислят, поэтому нет, надо изловчиться и сделать это на перемене, когда все будут в коридоре. Тогда я затеряюсь в толпе и милиционерам труднее будет вычислить меня», – думал я.

На другой день, как только Проску зазвенела в медный колокольчик довольно внушительного размера, возвещая об окончании урока, и все ученики и ученицы, все до одного, выбежали из классов в коридор и на улицу, я подошел к стеклянному шкафу с химикатами, открыл дверцу, взял заранее намеченную мной светло-желтую коробочку, быстро спрятал ее в карман брюк и направился в раздевалку.

Раздевалка находилась в конце коридора, в глухом тупичке, куда редко кто забегал, и она почти всегда пустовала. Я прошел по коридору тихо и незаметно, стараясь не привлекать к себе внимания и ни с кем не разговаривать, быстро скользнул в дверь раздевалки, предусмотрительно не закрыв ее, чтобы заранее, еще издали услышать шаги, если вдруг кому-то приспичит воды напиться. Тихо, на цыпочках подошел к баку с водой, остановился на миг, прислушался, не идет ли кто. По-прежнему все было тихо кругом, лишь издали доносился шум и гам от беготни мальчишек и визга девочек. Втихаря, стараясь не звенеть, я снял крышку с бака, поставил ее на пол, заглянул в бачок: много ли в нем воды? Я чуток не дотягивал, и мне пришлось привстать на цыпочки: бак был полон по самый край, и я даже увидел свое отражение в воде. Быстро достал из кармана брюк коробочку, отвинтил крышку...

Все это я делал затаив дыхание и с нервной дрожью в руках, это я очень хорошо помню.

Открыв коробочку, поднял ее и наклонил над баком – вот-вот из нее начнут высыпаться крупинки белого порошка – и... застыл.

Да, я застыл, оцепенел, это я тоже хорошо помню.

Я стоял над баком, прислушиваясь к калейдоскопическому мельканию своих мыслей: «Как лучше сделать, чтобы химикат (страшного слова „яд“ я старался избегать даже в мыслях) лучше подействовал? Всыпать порошок тонкой струйкой, чтобы он хорошо размешался в воде, или же опрокинуть коробок сразу?.. Интересно, вода изменит свой цвет или останется такой же чистой? Эх, надо было взять порошок домой, проверить... Сейчас шевельну рукой – и *они* погибнут... Смерть наступит мгновенно или же *они* будут мучиться?.. У-у, как все легко! Шевельнул рукой – и... Еще секунда – и я убийца... отравитель... Но ведь могут отравиться и мои друзья? И моя родня – братья и сестры мои двоюродные и троюродные?! Ну что ж, так тому и быть, это уж кому как повезет!.. Эх, хорошо бы сейчас Сашка зашел, я бы ему все рассказал, только бы сказал: чур, молчи, никому не говори! Он не выдаст меня, он же друг!.. А может, он и морду мне набьет, он сильнее меня... И Валя Араева тоже может отравиться, она самая красивая, в нее все мальчишки в нашем классе влюблены, никакого проходу ей не дают... И я ее люблю, ох, как же я ее люблю! Она ведь тоже может отравиться... А-а, начхать! Пошли все на фиг! Небось не отравятся... У-ух ты, сердце как колотится!.. А как же бог? Недавно я с мамой ездил в Сызрань, в первый раз я в церкви был. Ездили „к обедне“, мама хотела отслужить панихиду по папе, но поп не разрешил, сказал, что по самоубийцам нельзя служить панихиду... Каких же страшных архангелов с мечами я там видел! У-ух, какие у них строгие лица! Они меня накажут! Когда я безобразничаю, мама всегда пугает: „Бог накажет!..“ Ха-ха-ха... А бога нет, я комсомолец, я не верю в бога... Ага, комсомолец, а готов совершить гадкий поступок... Ну хорошо, я сейчас сыпану порошок в воду, и меня никто не заметит. А вдруг я выйду из раздевалки и стукнусь с кем-нибудь из ребят, что тогда, а?! И тогда мне крышка, он меня заложит... Да и без того меня быстро найдут... По отпечаткам пальцев... А я скажу, что не нарочно, что нечаянно уронил порошок в воду... Ага, так мне и поверят!.. Спросят: с какой это стати ты решил воду отравить? А я отвечу... И что я отвечу? Просто захотелось, и все – так, что ль, отвечу? Не-ет, это не ответ, надо какую-то причину придумать... Меня посадят в тюрьму или в спецшколу отправят? До шестнадцати, кажись, в тюрьму не сажают...

С позором выгонят из школы – это уж точно... В коридоре ребята веселятся, смеются, хохочут, бегают наперегонки, а я тут вздумал невесть что... Приду домой, а мама меня спросит: „Как дела в школе?“ – а я ей: „Мама, сегодня я отравил всех в школе...“ Ха-ха, так и ляпну! А если отцы узнают, что я отравил их сыновей и дочерей, они же меня забьют, кольями забьют, еще до приезда милиционеров... Пришибут до смерти, а если и не пришибут – покалечат. Это уж точно!.. Что-то мне все это не очень нравится... Стоит ли рисковать? Нет, надо подумать... Пока думаю, сейчас кто-то вбежит попить и меня застучает... Решай быстрее: или – или!.. Надо сматываться отсюда... Да ну на фиг, не буду я воду травить! Я же не дурак!..»

Так я почти с минуту боролся с собой. Кому-то покажется, что это сумбур, но это не сумбур, это был стремительный поток моих мыслей, когда одна мысль вихрем сменялась другой.

Не помню я сейчас, коробочка дрожала в моих руках от волнения или не дрожала. По моему, все-таки дрожала: я очень боялся. Боялся, что кто-нибудь внезапно зайдет в раздевалку и застанет меня на месте преступления. Да, я боялся, мне было страшно, и в то же время я испытывал наслаждение от мысли, что от малейшего поворота моей руки зависит жизнь людей.

Странное это было ощущение, очень странное...

«Их жизнь в моих руках, можно сохранить *им* жизнь, а можно и не сохранять», – думал я.

Признаюсь: с великим трудом я преодолел страшное искушение.

Засунув коробочку обратно в карман, я вышел из раздевалки. Опять же, скажу вам честно: с большой неохотой я вышел и даже обернулся в дверях – а может, воротиться и все-таки сыпануть порошок в воду?

Я не помню, мыл ли я руки перед тем, как выйти из раздевалки, но твердо знаю одно: совесть моя осталась чиста – я не отравил воду. Слава богу, произошло то, что и должно было произойти с четырнадцатилетним подростком: я не довел до конца свой чудовищный эксперимент, не сделал последнее движение.

Чувство самосохранения, трусость или же врожденная совесть тому помешала – я не знаю, но что-то спасло меня.

Выйдя из раздевалки, я вместо того, чтобы затаиться где-нибудь в укромном месте и подумать о том, каких дел я чуть было не натворил, как ни в чем не бывало, бодрый, радостный и сияющий, взапуски забегал вместе с пацанами по школьному коридору, не испытывая никаких угрызений совести. Я так веселился, смеялся и озорничал, что никто бы подумать не мог, что еще пять минут назад я мог отравить всю школу.

У чистой воды с нечистыми помыслами

Уборщицы Ляпа и Проску ежедневно приносили воду для питья из ближайшего колодца двумя ведрами на коромысле, и так я оказался у чистой студеной воды с нечистыми помыслами.

Кто я был в эту минуту? Дрянь, с какой-то дрянью в руке.

Повторяю: я не знал, что было в коробочке – смертельный яд или безобидный порошок, вроде соды.

Когда время от времени я вспоминаю этот эпизод своей жизни, – прошло полвека, а я до мельчайших подробностей помню тот миг, в который я держал склянку с химикатом над баком с водой, все свои мысли и ощущения, – я испытываю если не счастье, то душевное умиротворение. Умиротворение от того, что мне, четырнадцатилетнему подростку, хватило ума не отравить учащихся неизвестным химическим порошком.

Это сейчас школа в нашем селе закрыта за ненадобностью, а тогда, в середине 70-х годов прошлого века, в ней училось больше шестисот мальчиков и девочек в возрасте от семи до семнадцати лет. Много ребят могло отравиться...

Да, в тот момент я стоял не над баком с питьевой водой – я стоял на краю гибели, над бездной.

Впервые в жизни я решился сделать зло, и причем совершенно сознательно. «Какой смысл был в этом гадком, подлом поступке?» – не раз спрашивал я себя и не находил ответа. Черт его знает, что я хотел, в школе разве себя толком понимаешь!

Самый простой ответ: я был в поиске острых ощущений, и это была своего рода форма экстрима.

А может быть, кто из учителей меня обидел и это была реакция на обиду? К примеру, я помню, как математичка тормозит меня, требует дать ответ на какую-то задачку, я ни черта не понимаю, и она в сердцах кидает мне в лицо при всем честном народе: «Люлькин, ну почему ты такой тупой?» И тут я не выдерживаю – иду в кабинет химии, открываю шкаф с химикатами, беру склянку с неизвестным белым порошком... Нет, такой вариант отпадает, я не могу сказать, что сердце мое было наполнено ненавистью и злобой по отношению к кому-то из учителей. Я не принимал их крики и ругань близко к сердцу...

А может, меня гнобили ученики? Может, я был унижен, затравлен, закомплексован в школе, страдал от насмешек и издевок своих одноклассников и попытался таким образом отомстить им? Ничего подобного. Да, я рос послушным мальчиком, был застенчив, легко краснел, был вежлив, не ругался матом, но и размазней я не был, спокойно мог дать сдачи. Я тот еще был драчун, все время ходил в синяках и ссадинах.

А может, все дело в том, что я изначально был рожден преступником и мысль об отравлении таилась на дне моей души? Не зря же учительница немецкого языка Настасья Александровна однажды обозвала меня «Христосиком». Она сказала это со злой иронией, она считала, что я только прикидываюсь тихим послушным мальчиком, на самом же деле во мне сидит бесенок. И какое-то время в школе даже дразнили меня Христосиком, но эта обзывалка так и не прикипела ко мне.

У меня есть единственное объяснение этого поступка: виноват отец.

Да, да, именно так! Отец отравил мне жизнь, я же чуть не отравил школу.

Бесконечные пьянки отца и скандалы в семье, – как бы сейчас сказали, хроническая психотравмирующая ситуация – довели меня до того, что я взял в руки неизвестный химикат.

Я был несчастен, а несчастный человек опасен. Так утверждают психологи.

Уверен: этот поступок порожден моим страданием, надругательствами над моей ребячьей душой.

Вспоминаю свое омерзительное, пронизанное страхом детство...

– Пора бы ему прийти, а его все нет и нет, – говорила мама и добавляла с тревогой: – Опять, наверное, налопался. Никакого покою с ним нет.

Мамино ожидание папиного возвращения с работы, очень нервное и тревожное, передавалось и мне. Я тоже начинал сильно нервничать, то и дело подбегать к окну и с нервной дрожью смотреть, не идет ли папа. И когда я видел, что папа шел, качаясь, у меня в эту минуту у самого подкашивались ноги. Обернувшись к маме, я сообщал ей испуганным голосом: «Папа пьяный!» В голосе моем было столько испуга, что мама вынуждена была обнять и гладить меня по голове: «Не бойся, сынок, все будет хорошо!» Но я-то знал, что мама меня обманывает, что сегодня вечером в нашем доме все будет «очень нехорошо».

Папа, пьяный в стельку, придет домой вечером, повалится на полу в передней часок-другой, отрезвеет чуток, сядет на скамеечку у обеденного стола, покурит сигарку, скрученную из газетной бумаги или листка отрывного календаря, посидит в темноте, окутанный густыми облаками махорочного дыма. А мы с мамой в это время лежим в обнимку в спальне, слушаем, как он харкает, сморкается, кашляет, плачет, гремит кулаком по столу, скрипит-скрежет зубами в ярости, матерно ругается.

Да, папа обрамлял каждое матерное слово скрежетом зубов. «Так звереет, инда зубы хрустят», – говорила мама про папин зубовой скрежет.

А потом отец, весь в черном – черной сатиновой рубашке и черных штанах, – придет в спальню, встанет во входном проеме меж стенкой и шкафом, и с пьяным бешенством завопит: «Убью, сволочь!» – и замахнется топором на маму. Или ножом. Или, и это чаще всего, сапожным шилом.

Представляете, какой ужас и страх я испытываю в эту минуту!

Вот в такой атмосфере я рос.

Я ничего не мог понять, я не мог разобраться, почему и за что папа бьет маму, я не знал, кто виноват. Но самое главное, я не знал, что делать, и был бессилён что-либо изменить. Не раз я пытался удержать папу, встав на его пути, но куда там, он отшвыривал меня, как щенка.

Я испытывал перед пьяным папой жуткий страх, но, видит бог, я ни разу не испытал к нему ни гнева, ни ненависти. Он был МОЙ ОТЕЦ.

Нет, неправду я говорю. Признаюсь, что порой я желал смерти родному отцу. А однажды мне даже пришла кошмарная мысль – убить папу, зарубить его топором.

Случилось это зимой, всего за полгода до того, как он повесился.

На всю жизнь я запомнил тот зимний вечер, когда я взял в сених топор, прикинул на вес, на пробу тронул ногтем лезвие, прозвеневшее как струна, вошел в дом, присел в передней комнате на деревянную скамейку с резной спинкой, внимательно и неторопливо оглядел свою жертву – лежавшего у моих ног пьяного отца. Дурно пахнувшего, с головы до ног испачканного собственной блевотиной. Я знал, что сейчас отец «проспится», как выражалась моя мама, и начнет бушевать. Вот я и думал, зарубить его или не зарубить.

Представляете картину: на полу в блевотине валяется мертвецки пьяный отец, а рядом с ним с топором в руке сижу я, его тринадцатилетний сын, с намерением размозжить ему голову? Помню, я встал и несколько раз замахнулся топором, примериваясь, куда и как сподручней ударить отца – по шее? по затылку? лезвием или обухом? – чтобы его смерть была мгновенной.

Что происходило в моей пацанячьей душе в эту минуту – один Бог ведаёт. Кстати, на меня в эту минуту взирали из красного угла, с божницы Христос, Богородица с Дитятей на руках, Николай Угодник. Мама порой опускалась перед иконами на колени и долго молилась. Я хорошо помню, что строгий лик святого Николая Угодника на иконе был изображен со странной и необыкновенной формы головой – с глубокой впадиной на лбу, будто это был рассек от удара топора.

«В нашем буйном доме даже у святого разрублен лоб», – однажды сказал я маме.

«Не богохульствуй!» – только и сказала она на мои слова.

Эта попытка убийства родного отца навсегда отпечаталась в моей памяти.

Кто знает, может быть, рано или поздно я и убил бы отца, если бы сам Бог не воспрепятствовал этому преступлению: он повесился.

Да, я сильно горевал и рыдал, сильно страдал от того, что он умер, и мне даже ставили уколы, чтобы привести меня в чувство, но уже очень скоро, когда в нашем доме воцарились непривычные тишина и покой, я был искренне рад, что папа умер.

Но это же великий грех – радоваться смерти родного отца! Значит, я плохой человек! А коли я плохой, то вот вам, получите! Я взял химикат и направился в школьную раздевалку, к баку с питьевой водой...

Тринадцать лет я прожил в этом чудовищном, кошмарном мире, поэтому у меня травмированная психика, говенный характер. И вполне может быть, что подобное омерзительное поведение – это реакция на поведение и смерть отца.

Что еще можно сказать по поводу этого случая? Много знаний я получал на уроках, но самого себя глубже всего я познал именно в ту минуту, когда стоял в темном закутке у бака с питьевой водой с химическим порошком в руке. Чтобы совершить преступление, надо иметь что-то такое, чего, слава богу, не было в моем характере. Да, я был на грани преступления, но в самую последнюю минуту взял и одумался.

Фактически я сам себе преподаю урок, самый важный урок: человек, и даже очень молодой человек, подросток, способен на все, поэтому надо всегда управлять своими мыслями и поступками, контролировать их, иначе беды не миновать.

Я должен был бы вспомнить об этом стыдном поступке с отвращением к самому себе, с омерзением и с брезгливостью, ведь и я был способен на убийство, на отравление, но ничего подобного я не испытываю. Издержки роста – и ничего более. Я же не довел дело до реального отравления, а мысли... Что же мысли? Каких только мыслей и задумок у нас не бывает. Задумки, пусть и самые сумасшедшие и бредовые, еще не дело.

Слава богу, психопатологические замыслы в моей жизни уже больше не повторялись. Они были свойственны подростковому возрасту. Если не считать, конечно, за психопатологию попытку самоубийства, которую я предпринял пять лет назад, в декабре 2020 года, в свои 58 лет, когда по пьяни перерезал себе вены на левой руке. Выходит, безумные мысли сопровождают меня всю мою жизнь. Выходит, я все-таки сумасшедший...

Дом с решетками на окнах

Когда мне бывало скучно на уроке, я начинал бессмысленно рисовать. Сколько себя помню, я никогда не малевал в школьных тетрадях никаких цветов, бабочек или зверушек. Чаще всего я изображал домики с двумя-тремя маленькими зарешеченными окнами. Психологи уверяют, что крошечные, с решетками окна рисуют дети с острой потребностью что-то скрыть, возможно, у них есть секрет, о котором ребенок боится говорить.

Детям нужна безопасность и уверенность, что дома их не ударят, не накричат, и вот этого чувства безопасности, этой уверенности у меня не было, я жил в постоянном страхе: вечером придет отец и начнет буяннить, страшать и избивать маму.

В самом родном человеке – папе – жил лютый зверь. Бывало, он приходил с работы домой, пьяный, наполненный бешеной злобой, мама пыталась смягчить, успокоить, поцеловать его, но ей это почти никогда не удавалось: злобная натура отца не поддавалась дрессировке.

Да, детство мое омрачено тиранией и пьянством папы. Работавший пожарником, он часто разжигал в нашем доме скандалы и драки, повод же был любой. Нет махры, а махорку он называл махрой, – вот и повод для скандала.

Очень скуп и прижимист на копейку был мой отец, ему казалось, что каждая покупка – пустяшная трата денег, даже если это были новые валенки или ботинки для нас, детей. Он почти всегда устраивал скандалы и пьяные драки, когда узнавал, что мама купила какую-нибудь обнову.

У мамы было медное кольцо, очень простенькое и дешевое, но она всю жизнь берегла его. И всегда надевала на палец это грошовое кольцо – на свадьбу или гулянку. Это кольцо преподнес ей папа, когда в 1950 году они расписались в сельсовете.

* * *

Однажды мама подсчитала, что была на 150 свадьбах.

– Это не считая дней рождения, вечеринок и гулянок, – сказала она.

И везде папа играл на гармонии, он был лучший в селе гармонист. Я часто видел, как в пьяном раже, развернув свою гармонию, в поношенном пиджаке, в брюках, заправленных в кирзовые сапоги, в истасканном картузе, он шел по улице, а рядом со свистом, выплясывая и притопывая, шли пьяные мужики и бабы и пели разудалые песни. Папа так лихо наяривал на гармони, что ноги сами просились в пляс. Но я ни разу не видел, чтобы сам отец отплясывал или хотя бы притопывал ногами.

Сколько себя помню, никогда не плясала и не пела и мама, а если и плясала, то больше глазами, улыбкой, легким движением плеч. Единственная песня, которую мама редко-редко, но певала, и даже, нет, не певала, а громко выговаривала: «Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет – помирать будем».

Нет, не певучая, не плясовая жизнь была у моей мамы.

* * *

Папа брился каждый день, у него росла очень густая и жесткая щетина. По пьяни он иногда целовал меня, и я помню, как колючая, небритая щека больно колола меня, словно наждачкой, а вот обработать, смягчить кожу после бритья ему было нечем. Одеколон «Тройной», который покупала ему мама, папа всякий раз выпивал чуть ли не в тот же день. Аромат после этого в доме стоял такой, что сшибал меня, маленького, с ног.

Чаще всего отец пил самогон или дешевый портвейн «Маняги». Чтобы остаться в истории, не обязательно совершить героическое деяние. В начале 70-х годов прошлого века пьянчужка – дочь директора ликеро-водочного завода в рабочем поселке Кузоватово, по имени Маня, не совладав с искушением, влезла в металлический чан с вином и утопла, успев напоследок воскликнуть: «Маняги!» Так она вошла в историю: отвратный «портвяшок», выпускаемый заводиком, с той поры весь окрестный люд стал называть «Маняги».

Правда, что означало это непонятное слово, так до сих пор никто и не разгадал.

На что пил отец? Он был первый гармонист в нашем селе, и ни одна пьянка-гулянка не обходилась без него, без его наигрышей и песен.

Но главное, он работал пожарным, и у него на руках была лошадь, а лошадь в деревне – это все. Дров кому подвезти или сена, огород вспахать или пробороновать, сад или огород полить из пожарного брандспойта – все нанимали папу. И все его угощали – вот и напивался он чуть ли не каждый божий день.

* * *

После окончания восьмого класса Витя, родной брат, который на десять лет был старше меня, ушел от нас в соседнее село Безводовка, располагавшееся в десяти километрах от нашего села, там была школа-десятилетка. Думается мне, что брат с радостью покинул родной дом, потому что он уже начинал «бодаться» с пьяным папой и не хотел жить в буйно-пьяной обстановке нашего дома.

А через три года из родного дома в соседнее село Студенец уехала и сестра Маня, чтобы закончить тамошнюю школу-десятилетку. Сестра на семь лет была старше меня, и я остался один-одинешенек, без брата и сестры.

А папа запивал пуще прежнего и все чаще и сильнее бушевал и буйнил. И некому было его удержать: все боялись. Наш дом в такие моменты прохожие опасливо обходили стороной, чтобы не нарваться, чего доброго, на пьяного и буйного Юрика.

– Не всякий осмелится прийти на помощь, – говорила мама. – Юрик возьмет в руки что ни попадя да и шарахнет не глядя. Он же бешеный, как напьется.

Однажды наш сосед дядя Федя, живший с семьей в доме напротив, через дорогу, и работавший в совхозе трактористом, решился заступиться за маму, утихомирить пьяного папу и жестоко поплатился, получив удар тяжелым чугунным утюгом по плечу. Рука дяди Феди вмиг повисла плетью, он чуть было не остался калекой.

Желающих вступать в наши пьяные семейные разборки особо не было; смелых, отчаянных людей, которые могли бы утихомирить пьяного безумца с ножом или топором в руках, не находилось. Изредка лишь приходил на выручку папин старший брат дядя Борис. Ношенный-переносенный пиджак, брюки, заправленные в кирзовые сапоги, на голове помятый картуз. Примерно так в те времена в нашем селе ходили все мужики, и только Борька, учитель в школе, всегда «форсил», по выражению моей мамы, в костюме с галстуком и шляпе. В школе его все звали Борис Михайлович, но стоило ему выйти за порог школы, как он тут же превращался в Борьку.

Дядя Борис воевал на фронте, побывал в немецком плену, бежал из концлагеря, как говорят, прошел огни и воды, но и он побаивался своего буйного брата. Мы с мамой убегали в дядин дом в надежде найти в его стенах кров и защиту, мама порой просила дядю пойти с ней домой, чтобы проследить, не натворит ли каких делов мой отец, но он почти всегда отнекивался и махал рукой.

– А ну его, проспится до утра, – говорил дядя Борис и ложился спать. Ему явно не хотелось связываться с отцом, одурманенным самогоном.

Чтобы не беспокоить людей, довольно часто мы с мамой ночевали в сенном сарае. Мама вырывала в копне сена глубокую нору, мы залезали в нее и всю ночь спали в ней. Порой приходилось ночевать на сеновале даже зимой.

* * *

Мама была на сносях, на восьмом месяце беременности, когда отец, взбесившийся от самогона, погнался за ней.

– Насилу вырвалась я тогда от него, – сказала мама, вспомнив тот страшный эпизод.

В последнюю минуту маме удалось забежать во двор и закрыть за собой калитку перед самым носом папы. Захлопнув калитку, защелкнув ее на засов, она подпрыгивала, хлопала в ладоши и приговаривала, весело смеясь: «А вот и не достанешь! А вот и не достанешь!»

– Уж я так хохотала, так хохотала! – рассказывала мама.

– Как можно было хохотать в такую минуту? – удивился я. – Ведь папа мог линчевать не только тебя, но и меня во чреве твоём.

– Не знаю, сынок, но видеть, как он гремел кулаками в калитку, ругался матом, без смеха я не могла.

Думаю, в эту минуту мама испытывала животную радость от того, что ей удалось спастись от взбесившегося мужа, вот она и хохотала, как сумасшедшая.

Ох и безумствовал папа в запое, ох и безумствовал! Дикий, отчаянный, одержимый бесом, он мог сотворить что угодно, а один раз он вообще умом тронулся, как выразилась мама.

Как-то летним вечером, впав в бешеную ярость, в исподнем белье, с топором в руке, со страшным воплем: «Убью, сволочи!» – папа вылетел из сеней нашего дома и погнался за мотоциклом с коляской, где сидели два шестнадцатилетних паренька и девушка. Спяну ему показалось, что ребята силком хотят увезти его жену, то бишь мою маму, и он из ревности хотел их зарубить. И, видит бог, зарубил бы, если бы парнишки не дали газу.

Жизнь ребят висела на волоске – у папы случилась белая горячка.

* * *

Однажды папа, издав натужный хриплый крик: «Убью, сволочуга!» – кинулся с ножом на моего четырнадцатилетнего брата.

Витя в эту минуту сидел за столом и делал уроки.

Брат пронзительно вскрикнул и в панике выпрыгнул в окно. Он чудом уцелел...

Брат был обидчив и злопамятен. Он так никогда и не простил того папиного броска с ножом, всю жизнь держал на него обиду. По крайней мере, глаза брата гневно щурились, когда он смотрел на отца. Подозреваю, что брательник особой любви к отцу не испытывал, а может быть, даже питал и ненависть к нему.

Прошло еще несколько лет. Брат отслужил в армии, поступил в школу строительных мастеров в Ульяновске. На выходные Витя приезжал домой, и я всегда напрягался, потому как отношения папы и брата трудно было назвать родственными. Брат никогда не ладил с отцом, они всегда «лаялись и собачились», по выражению моей мамы. Я был страшно растерян от того, что люди, притом близкие люди – отец с сыном, – могут так ненавидеть друг друга.

Брат – «материнский заступник», как называла его мама, – не раз обещал убить отца, и однажды они жестоко подрались. Так дубасились, что казалось, они вот-вот убьют друг друга.

Мама пыталась разнять их, удержать Витю, но сил ее не хватало.

– Изверг! Изувер! Сволочь паршивая! – с негодованием кричала мама Вите. – Не срамись перед людьми! Не бей отца!

Папе удалось вырваться из рук Вити, и он сбежал в дом, а через минуту в одно из окон по фасаду высунулась его взлохмаченная пьяная голова.

Витя выломал штакетину из забора и с матерным восклицанием швырнул в папу отломанной палисадиной. Штакетина с грохотом стукнулась и сломала оконный переплет в виде буквы «Т».

Не попал брат в отца, промахнулся, а то убил бы, решил его, как сказала бы мама.

А к дому нашему уже сбежался народ.

Брат продолжал рваться в драку, но его, схватив за руки и плечи, с трудом, но все же оттащили люди.

– Иди, сынок, посмотри, что он там делает, а то он такое может отчебучить, – сказала мама, взявшись за железную ручку входной двери.

Мне становится страшно, и я говорю маме:

– Я не пойду, я боюсь.

Я боюсь, смертельно боюсь заходить в дом.

– Иди, иди, не бойся, ничего он с тобой не сделает, – говорит мама, успокаивая меня.

Передо мной открывают обитую клеенкой с трещинками дверь, вталкивают меня в дом. Я переступаю порог. Мне страшно, и я медлю. Я оборачиваюсь, вижу в открытую дверь маму, мою крестную тетю Надю, родную сестру отца, но они меня не останавливают, закрывают за мной дверь.

Отец ни разу меня пальцем не тронул, никогда и ничем не обидел меня, ни разу не ударил ни рукой, ни ремнем и даже грубым словом не обозвал. Папа любил меня, это я знаю точно, он не раз говорил мне это, когда бывал пьян.

Папиным любимцем я был, вот мама и не побоялась втолкнуть меня в дом, где сидел пьяный разъяренный отец.

Первое, что я увидел, войдя в дом, – широкий красноармейский ремень на вешалке, на которой он часто правил бритву, усердно ширкая лезвием бритвы по коже.

А вдруг эта бритва сейчас у него в руках и он зарежет меня? Эта мысль меня страшит, но вернуться я не могу, я же не трус, и я иду вперед.

Дом наш небольшой, с печкой-голландкой посередине и дощатой перегородкой, делившей горницу на две равные половины. Справа от входа, за дощатой перегородкой – тесная кухонька с русской печью, по-нашему – чулан, где обычно по утрам мама гремела ухватом и чугунами – стряпала.

Из-за двери, в сенях, слышались голоса, здесь же, в доме, было темно и очень мрачно, свет горел только в чулане. Я кожей чувствую, как от чулана, где сидит отец, веет какой-то жутью. Замерев от страха, прислушиваясь к тому, что происходит на кухне, я подхожу к дверному проему, задернутому ситцевой занавеской, пугливо отодвигаю занавеску в сторону и вдруг у самого входа вижу пьяного отца, а в руках у него – занесенный топор.

Еще секунда – и он рубанет меня сплеча.

Разодранная у ворота черная рубаха выбилась из черных брюк, заросшее щетиной лицо было в синяках, глаз у отца подбит, из носа и припухшей верхней губы сочится кровь – я видел, как Витя со всей пьяной дури врезал отцу. Налитыми кровью глазами он так дико и злобно посмотрел на меня, что мне стало не по себе, и я испуганно отскакиваю от двери, оглядываюсь назад, как бы ища защиты, но за спиной никого нет – я один.

– А, это ты, сынок... – сказал отец, опуская топор. – Иди садись...

Я вхожу в чулан, сажусь на табурет.

Папа со злостью сплюнул кровью на пол, устало сел на соседнюю табуретку, опустив топор на колени.

В чулане смрадный запах самогона, на столе, покрытом маслянистой и потрескавшейся несвежей клеенкой, початая бутылка самогона.

В первое время отец косил взглядом на вход, ожидая, что сейчас в дом ворвется его старший сын, я видел, как папины руки сжимались в кулаки; он то и дело скрежетал зубами.

Мне стало очень жаль папу, и, глядя на него робким растерянным взглядом, я встал с табуретки, молча подошел к нему вплотную, обхватил его руками и изо всех сил прижался к нему. Папа крепко прижал меня к себе, склонился ко мне и поцеловал меня в щеку, кольнув меня щетиной. От него разило самогонным перегаром и запахом табака.

Некоторое время мы стоим молча.

– Папа, не надо драться, – шепотом попросил я.

Злые глаза его оттаяли, подбородок его дрогнул, он вдруг заплакал, размазывая слезы кулаком по лицу.

Он вообще часто плакал, когда бывал пьян.

Вместе с папой расплакался и я.

Успокоившись, папа достал из пачки беломорину и попытался закурить. Трясущимися руками с трудом сунул ее в рот и никак не мог зажечь спичку. Он протянул коробок мне. Я зажег спичку и поднес к его папироске. Он затянулся и застыл, глядя на папиросу с каким-то тупым изумлением. И долго так сидел, неподвижно уставившись в пол.

Табачный дым щипал мне глаза, они слезились, першило в горле, но я стоял, не двигаясь.

– Сукин сын! – сказал папа, с трудом шевеля распухшими губами. И скрежетнул зубами.

Я взял топор и вынес его в сени, где меня встретили мама и крестная.

– Что, что он там делает? – с испугом спрашивают меня.

– Папа сидит в чулане и плачет, – сказал я.

Я выступил в роли миротворца, хотя такого слова я еще, кажется, не знал.

Но примирились ли они? Вряд ли.

Помню, в тот вечер отец крикнул Вите:

– Будь ты проклят!

– Будь ты проклят! – ответил Витя. – В гробу я тебя видел!

Проклятие сына оказалось сильнее – через два года отец повесился.

* * *

Мама рассказала мне эту семейную историю, когда я уже был пятнадцатилетним паренком. Перед тем как вспомнить этот эпизод, случившийся в начале ее супружеской жизни, она села в кресло, словно не выдерживая тяжесть навалившихся на нее воспоминаний.

– В 1944 году Юрика взяли на фронт и увезли на Дальний Восток, на войну с японцами. Семь лет он там отслужил, а как вернулся, мы сразу же и поженились. Спервоначально все было хорошо, жили дружно, а потом Юрик как с узды сорвался. Спокою с ним не было, все бушевал и буянил... Ох и помыкала я с ним горя, ох и настрадалась! Раз поехали в лес за дровами, и в лесу он так вывернулся на меня, до смерти меня избил...

Свирепый, точно разъяренный зверь, отец бросился на маму, повалил ее на землю и стал нещадно бить, топтать ногами в кирзовых сапогах, окованных гвоздями.

Перед тем как потерять сознание, в самый последний момент она увидела мужа, который размазывал по лицу липкую кровь.

– Помню как сейчас: Юрик, весь в крови, стоит под деревом с окровавленным топором в руках, с налитыми кровью глазами.

Полуживую, папа оттащил маму в кусты, затолкал под поваленное дерево, завалил разлапистыми зелеными ветками – и уехал, оставив ее умирать.

– Юрик решил, что забил меня до смерти и я умру... Пластом лежала – так меня отмутил. Лежу, только и слышу, как ветерок по макушкам ходит да сорока где-то чекочет. Ну, думаю, каюк мне, умру я тутощки. Только подумала – и вновь сознание потеряла. Не помню

толком, сколько я в беспамятстве пролежала, да уж и не припомню, столько лет прошло. Думаю, несколько часов без памяти провалялась, очнулась, когда в лесу было уже темно... Ну, думаю, крышка мне, не выберусь, только и кричу: «Мама! Мама!» – тихо кричу... Глухомань такая кругом, никто меня тут не найдет, кричи – не кричи, надо выкарабкиваться, иначе хана придет – окочуришься. Оклемалась маленько, очухалась – и давай выкарабкиваться из завала. Насилу выбралась из-под валежника...

У мамы отнялись ноги, и она, вся истерзанная, избитая, окровавленная, по-пластунски, то и дело теряя сознание, поползла среди деревьев и кустарников, по густой траве в село.

– Незнамо как добралась до родительского дома, уж я и не чаяла увидеть отца с матерью, – сказала мама.

А куда ей было идти? Не к мужу же извергу! Думала, что отец, сельский кузнец, заступится за нее, найдет на него управу, но Михаил Иванович был строг и неумолим: «Не силою ты замуж выходила за него, никто тебя не неволил, сама охотою пошла за него. Вот и возвращайся к нему!»

Деваться было некуда, перечить отцу дочь не могла, и она безропотно вернулась к мужу – бедовать...

– Кабы раньше знала, что он меня до смерти изобьет, неуж бы поехала в лес... Довеку не забуду я этот день, только ты, сынок, об этом никому ни гугу, никому не рассказывай, – попросила меня мама. – Ни единая душа об этом не знает...

Я дал ей слово.

Ровно пятьдесят лет я держал свое слово, не рассказывал об этом страшном семейном эпизоде ни брату Виктору, ни сестре Маше – никому. И только сейчас я нарушаю свое обещание, данное маме, увы, давно уже покойной, только сейчас беру грех на душу.

Надеюсь, мама меня простит...

Да, в детстве мне было что скрывать, поэтому я рисовал в школьных тетрадях домики с двумя-тремя маленькими зарешеченными окнами...

Крест на роду

Я всегда говорю свою фамилию – Люлькин – четко и громко, но меня всякий раз непременно переспрашивают, пряча противную ухмылочку куда-то в сторону, за воротник: «Как?.. Как?» И я всегда отвечаю, но уже по слогам: Люлькин, изо всех сил стараясь не реагировать на язвительную усмешку.

А бывает, меня задевают эти насмешки, и я, не скрывая раздражения, с самым серьезным видом объясняю: «Послушайте, вы! Моя фамилия действительно звучит несколько забавно, но в ней заключается древний смысл: „Люль“, „Лель“ с древнемордовского переводится как „звезда“, „солнце“. И такое прозвище, к вашему сведению, могли носить только знатные мордовские князьки, а не простые холопы. Поэтому знайте: я – отпрыск древнего княжеского рода! Прошу любить и жаловать!»

Еще на первом курсе факультета журналистики МГУ я раскрыл значение своей фамилии своим друзьям Виктору Гуркину, Михаилу Алову, Константину Горлову, и они тут же прозвали меня Князь. Так с их легкой руки и повелось: Князь да Князь, все студенческие годы я проходил под этим «сиятельным» прозвищем.

Но сегодня я хочу говорить о другом. О скорбном. О том, что «княжеский» род Люлькиных бесследно исчезает с лица земли. Черт знает, что творится с нашим старинным родом! Насильственные смерти, несчастья и самоубийства следуют с ужасающей частотой. В результате родовое древо, росшее и процветавшее в одном из мордовских сел Ульяновской области, подрублено под корень.

Все мои односельчане уверены, что так аукнулись многочисленные святотатства, которые некогда при всем честном народе совершали мои предки. И я с ними, людьми от сохи, соглашусь, несмотря на свое университетское образование. Я тоже думаю, что наш род преследует страшное проклятие.

В 30-е годы прошлого века мой родной дядя Борис учительствовал и самым богохульным образом призывал людей отвернуться от веры. Будучи ярым комсомольцем, семнадцатилетний парнишка был непоколебимо убежден, что Бога нет. На досуге Борька устраивал в избе-читальне «богоборческие» спектакли, во время которых он нещадно щепил на лучины святые иконы. По малолетству и недомыслию заодно с ним выступал и один из его младших братьев, Юрик, которому тогда было всего лишь тринадцать лет. Без всякого принуждения, по собственной воле-волюшке мальчонка подсоблял своему старшему брату, поддерживая своими неокрепшими руками иконы, когда Борис топором – одним махом! – рубил их на щепу. Раздавался громкий треск, и народ, ошеломленный неслыханным святотатством, сломя головы валом валил из избы. А немногочисленным зрителям, оставшимся в избе, Борька говаривал со сцены, пряча ухмылочку в усы: «Перед иконами надо *познамо*¹, а не *ознамо*»².

И для большей убедительности, подняв кверху указательный палец, издавал своим крепким седалищем срамные рулады – громкие, раскатистые, изощренно-издевательские.

Но одними богохульными лицедействами Борька не довольствовался. На околице нашего села, над родником, откуда берет начало маленькая речушка Томыловка, возвышалась небольшая деревянная часовенка. Юный безбожник частенько приходил к ней, решительно вскидывал ружье и, громко воскликнув: «Всех святых – к стенке!» – почти не целясь, поочередно расстреливал лики божьих угодников и праведников, украшавших ворота и стены. Всех до единого!

¹ Познамо – пердеть (мордов.).

² Ознамо – молиться (мордов.).

Богомольные старики и старухи всячески сволочили «ирода-хриstopродавца», грозно проклинали его, навлекая на него и на весь наш род страшные кары небесные, но парнишка в ответ лишь издевательски хохотал: «Бога нет!» Потом Борис, может быть, горько пожалел о своем святотатстве, но было уже поздно – в нашем роду начался сущий падеж. Близкие мои родственники стали гибнуть один за другим: кто в результате несчастного случая, а кто и накладывал на себя руки.

Вот он, долгий мартиролог. Хотя нет, полный список я приводить не буду: он слишком длинный, всего в нем четырнадцать человек. Скажу лишь, что среди погибших моих близких родственников люди самых разных должностей и профессий: председатель райпотребсоюза (в советские времена эта организация заведовала всеми торговыми учреждениями района), предприниматель, агроном, директор мельничного комбината... Но всех их роднит одно: гибель в самом расцвете лет.

Большая семья дяди Бориса – главного богоборца – вымерла вся, до единого. Сын Анатолий – председатель райпотребсоюза – застрелился. И как застрелился! Просто жуть! С первого выстрела он убить себя не смог, видимо, в последнюю секунду его рука дрогнула, и пуля разворотила лишь челюсть. Пришлось снова заряжать обрез и стрелять второй раз – теперь прямо в сердце, чтобы убить себя уже наверняка, без промаха.

Когда я представляю, как Анатолий трясущимися руками, обливаясь кровью, с громким воем – а я не сомневаюсь, что в эту смертоубийственную минуту он выл по-звериному, потому что молча выдержать ту ослепляющую невыносимую боль, которую он испытывал, не под силу ни одному человеку, – как только представляю это...

Бр-р-р! Лучше не представлять!

Второй сын Валерий, предприниматель, был убит рэкетирами в лихие 90-е в собственной грузовой машине, когда он перевозил товар из Ульяновска в родной поселок.

Два других сына дяди Бориса – Олег и Геннадий – погибли от пьянства. А его единственная дочь Валентина пьяной свалилась под товарный поезд. Так и не удалось выяснить, то ли она по своему хотению бросилась под состав, то ли оказалась на рельсах по чьему-то велению. Помню, поговаривали, будто немилосердная, злая рука взяла и нарочно столкнула нетрезвую женщину с железнодорожной платформы под громыхающие колеса...

Сам дядя Борис умер в восемьдесят два года. Очень крепкой породы был мужик, и на свою беду, он пережил всех своих сыновей и дочь. Говорю «на беду» потому, что, согласитесь, мало радости видеть, как в расцвете сил один за другим умирают твои родные дети. Кстати, от дядино дома, построенного в начале 70-х годов прошлого века, не осталось и следа. Нет, дом не провалился в таргарары, его купили и перевезли в другое село. Полагаю, кто-то совершил не самую удачную покупку...

Пострадала от проклятия и семья дяди Николая, брата Бориса. Сам дядя Коля еще один редкий представитель нашего большого рода, кому посчастливилось умереть своей смертью в восьмидесятидвухлетнем возрасте. Кстати, всю свою долгую жизнь он гордился тем, что в молодости наотрез отказался участвовать в богоборческих спектаклях, которые устраивали его не верующие в бога родные братья. Вот Всевышний его и миловал. Хотя о какой милости тут можно говорить, когда единственный сын его Анатолий, закончивший Сызранское вертолетное училище, погиб при падении вертушки. Смертью пилота и ученика завершился неудачный учебный полет...

Повесился и мой отец, Юрик, тот самый тринадцатилетний мальчонка, который помогал Борьке устраивать богоборческие спектакли.

Очень трагической была и судьба семьи дяди Вани. Сам глава семьи, работавший сцепщиком вагонов на железнодорожной станции, погиб от удара электротоком, когда полез на крышу вагона открывать люк цистерны с мазутом. Сына же его Валерия, директора крупного мельничного комбината в Ульяновске, сбила автомашина, за рулем которой сидел пьяный

шоферюга. Возвращаясь вечером домой, Валерий решил прогуляться и отпустил персонального водителя. У подъезда родного дома он и угодил под колеса.

Еще один мой двоюродный брат Анатолий в тридцатилетнем возрасте закончил свою скорбную жизнь в сумасшедшем доме, куда угодил почти сразу после армии, неожиданно для всех заболев манией преследования.

Кто приговорил всех к ранней смерти? Кому предъявить обвинение за их гибель? Я не знаю...

Кресты... Кресты... Кресты...

Церковь запрещает поминать самоубийц, и я даже свечку не могу затеплить за упокой души многих своих родственников. Разве только пропеть протяжно и жалостливо: «Ве-е-ечна-ая-я па-амя-ять!»

В убийственной мясорубке перемолот почти весь наш многочисленный род по мужской линии. Чудно, но по женской линии в нашем роду все благополучно, если не считать погибшей под товарным поездом Валентины. А из мужиков в живых остались только я и мой родной брат Виктор. Мы с ним последние необрубленные «ветви» некогда могучего древа. Но неужели Верховный Садовник и нас обрек на раннюю смерть?

...В тот самый момент, когда я писал эти строки, пришла скорбная весть: 1 декабря умер мой родной брат Виктор. С тяжелого похмелья у него не выдержало сердце. А было тому всего шестьдесят пять лет.

В советские времена Виктор трудился прорабом в совхозе, а когда хозяйство развалилось, ушел в шабашники, работал в Самаре, Ульяновске, Москве... На вольных хлебах он и пристрастился к вину. Жена ушла от него, прожив с ним двадцать девять лет. Страдая жуткими запоями, Виктор из последних сил цеплялся за жизнь. Каждый раз, когда брательник уходил в черный загул, я гадал: выкарабкается он на сей раз или нет? С большим трудом, но выкарабкивался... Правда, в последний раз Виктор угодил в психушку с белой горячкой. Лежал в больнице в Ульяновске, в том самом городе, где в молодые годы он выступал на областных конкурсах шахматистов, занимая призовые места. Умный, сметливый был мужик, а вот, поди же ты, судьба и его переломила через колено...

Психушка, наркологическая больница – все это было и в моей шальной, забубенной жизни. Не скрою: я хотел бы прожить свою жизнь достойно, но, увы, судьба и меня лихо обвела вокруг пальца.

Я несколько раз бывал на краю гибели, но всякий раз каким-то чудом спасался. В шестом классе чуть было не утонул, провалившись под лед в озере, но меня, слава богу, откачали. В девятом классе в меня стреляли, и я три недели провалялся в больнице. А когда я жил в Москве, в Доме Булгакова на Садовой-Спасской, 10, в квартире своего бывшего однокурсника, я еле спасся от бандитов, угрожавших мне кровавой расправой...

Поверьте, жутковатое ощущение, когда знаешь, что за тобой идет охота и тебя кто-то из «небесного воинства» постоянно держит на «мушке».

Я всегда ношу на шее серебряный крестик и серебряный образок святого Геннадия – моего ангела-хранителя. Снимаю их только в бане: в горячей парной серебро сильно обжигает. Эти заветные крестик и образок для меня как броня, они защищают от всех бед и напастей. По крайней мере, я в это свято верю.

В кручинный же час, когда белый свет становится немил и на душе очень скверно, – а такое настроение, к сожалению, в последние годы приходит все чаще и чаще, – я нет-нет да и подумываю уйти в монастырь. Чтобы там, за глухой стеной обители, в глубоком уединении отмолить грех, совершенный в середине 30-х годов моими сородичами, и, чего греха таить, самому спастись от неминуемой гибели. Но я понимаю, что в святой монастырь меня гонит не духовное призвание, как, например, моего однокурсника Александра Веригина, ушедшего

монахом в Валаамский монастырь, а обыкновенный страх за свою жизнь, грешную пустоцветную жизнь. Только это понимание и удерживает меня от ухода из мирской жизни.

Вместо послесловия

В классической литературе свою фамилию я встретил лишь раз – в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина. «Гаврило Степаныч Люлькин – земский деятель из губернского города Самоваров, который до того увлекся одной из сестер Головлевых, Любинькой, что „готов, кажется, земские деньги украсть“, лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно bellhomme, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все, вместе взятое, внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком... Как бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика». Когда растрата обнаружилась, Люлькин подошел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок. «Много говорю наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили: по крайней мере, благородно покончил!»

Господи, даже в литературе Люлькиным нет места в жизни!

«Люляки-муляки» о студенческой жизни

В школьные годы я несколько раз публиковался в районной газете «Знамя Ильича». Мой приятель называл эти заметки «люляки-муляки». Без всякого пиетета к моей тонко организованной, творческой натуре. Но я не обижался. Я так и назвал свои записки о студенческой жизни – «„Люляки-муляки“ о студенческой жизни».

«Торт Чеботаева»

Два последних курса я жил в одной комнате с Володей Чеботаевым, увы, уже покойным. На свой день рождения, на Новый год и 8 Марта Володя всегда готовил торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой. Володя им немножко гордился, сам разрезал на кусочки, сам раскладывал по тарелкам. И потчевал вкусным угощением нас, своих друзей.

Важно, что торт Володя готовил всегда сам, а не «чеботаевки», как мы называли его подруг, а их у высокого, статного парня из Харькова, с развитой мускулатурой и не менее развитыми мозгами, было не перечесть.

К слову, автором неологизма «чеботаевка» был я. Родом я из Ульяновской области, из мордовского села Томылово, и я прозвал девушек так по названию соседнего села Чеботаевка, где издревле жили обувщики, сапожники-чеботари.

Перед тем как сесть за письменный стол, чтобы написать о нескольких эпизодах студенческой жизни, я съел кусок «торта Чеботаева». Как и «мадлен Пруста», он обладает удивительным свойством воскрешать воспоминания о студенческой жизни.

«Писатель»

Моя первая публикация в районной газете «Знамя Ильича» была о сельском почтальоне. После этой короткой заметки я проснулся знаменитым. В родном селе Томылово меня зауважали: и односельчане, и друзья-приятели, и учителя...

А один из друзей так и назвал меня – «писатель», и с той поры кличка Писатель твердо закрепилась за мной.

Я стал так знаменит, что впору было раздавать автографы.

Так я впервые вкусил славу, и мне ее вкус чертовски понравился.

Черт, за это стоит выпить!

Я отпраздновал свою первую публикацию с друзьями так весело и шумно, словно у меня вышла из печати не скромная заметка в десять строк, а толстенный роман, наподобие «Войны и мира».

Гульнули мы в тот вечер славно.

Ошалевшие от самогона, мы направились в сельский клуб, где тут же устроили драку с ребятами из параллельного 9-го «Б» класса, а с ними мы враждовали чуть ли не с малолетства.

Один из избитых ребят, Николай К., сбегал домой, схватил отцовский дробовик, вернулся в клуб и начал палить. Впавший в ярость, он ловил каждого, кто жестоко избивал его, и в упор стрелял.

В тот памятный вечер Николай ранил четверых.

Здоровенной порцией свинцового заряда Коля нашпиговал и мой юный организм.

Кто бы мог знать, что скромная заметка в районной газете приведет к столь трагическим последствиям!

Кстати, об этом чудовищном, кровавом происшествии, случившемся со мной и с моими друзьями в подростковом возрасте, меня так и подмывало написать в сочинении на тему «Почему ты решил стать журналистом?», которое мы писали перед вступительными экзаменами на факультет журналистики МГУ. Я хотел рассказать о подробностях этой истории, показать, что я не простой школяр, а уже успел кое-что пережить, несмотря на юный возраст, но, слава богу, удержался.

И вместо рассказа о трагическом событии, случившемся со мной, написал какие-то громкие слова о руководящей роли КПСС («Мы пишем по указке сердца, а сердца наши принадлежат партии», – процитировал я слова Михаила Шолохова), о романтике дальних дорог...

Это происшествие – массовый расстрел школьников-девятиклассников – сегодня наверняка попало бы на первые полосы центральных газет, слава о нас прогремела бы на всю страну, но в советские времена писать о таких чрезвычайных событиях было запрещено, поэтому это кровавое ЧП вызвало бурю эмоций и страстей только в родном селе.

Выстрел, произведенный Николаем в мою задницу, к счастью, не убил во мне желания писать. Вернувшись из больницы недели через две, я снова взялся за перо, и скоро в «районке» была опубликована моя новая заметка. Однако свои публикации я с друзьями уже больше не обмывал.

Встреча на Казанском вокзале

Я не могу держать язык за зубами по одной простой причине: четырех верхних передних зубов у меня нет, выбили еще в школьные годы, когда мы, подростки, грабили сельповский магазин. Вышиб совковой лопатой дед Егор – сторож магазина. Старик в сердцах так вдарил меня лопатой по лицу, когда я с награбленными вещами с трудом выкарабкивался через разбитое окно из здания магазина, что я выплюнул их со слюной и кровью.

С неделю после этого удара я ел только куриный бульон и жиденькую манную кашку...

Честно скажу, меня непременно ждала воровская судьба, если бы от того сокрушительного удара в моей голове что-то не переклинило. Да, я лишился зубов, зато дед вправил мне мозги. И уже с удачно вправленными мозгами я поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кстати, когда я сказал маме, что хочу быть журналистом и стать таким же знаменитым, как ведущий телепередачи «Клуб кинопутешествий» Юрий Сенкевич, она съязвила:

– Ага, в селе ты уже *ославился*, а теперь хочешь *прославиться* на всю страну?

Мама, мордовка с трехклассным образованием, любила поиграть словами...

Первые три месяца учебы в университете я очень тосковал по родному мордовскому селу Томылово. Грустил и томился не только по друзьям и приятелям, но и, как ни странно, по Субботкам и Зорькам, которых два года пас с ранней весны до поздней осени.

В Москве я долго не мог привыкнуть к тому, что по утрам меня будил не крик петуха и мычание коров, а звон и скрежет трамваев, проезжавших мимо нашего общежития – ДАСа.

Признаюсь, что от тоски по родному селу и своим землякам я даже хотел бросить учебу в университете и вернуться на родину, однако понимал, что это было бы очень неразумно. Чтобы утишить свою тоску по родине, я два или три раза ездил на Казанский вокзал, откуда отправлялись поезда в мои родные края, в надежде встретить кого-нибудь из своих односельчан.

Под гулким куполом Казанского вокзала я и нарвался на своего одноклассника Валеру Ермолаева, осенью 1981 года возвращавшегося из армии домой.

Все бы ничего, встреча как встреча, но насмешка судьбы в том, что именно мама Валеры, Нина Михайловна, работала продавщицей в том самом сельповском магазине, который мы, несколько отчаянных подростков, ограбили.

У Валеры всегда был такой умилительно-трогательный вид, что без улыбки на него смотреть было нельзя. Буйные, спутанные волосы, большие оттопыренные уши, мокрые оттопыренные губы – губошлепами называют таких, – медленная монотонная речь...

Представить этого бесхитростного парня в роли грабителя было просто невозможно, но, увы, именно на Валеру и его родного отца Николая пали первые подозрения. Отца с сыном увезли в район, посадили в КПЗ, и именно его, шестнадцатилетнего паренька, часами допрашивали следователи. Ходили слухи, что его пытали, капали на стриженую макушку ледяной водой, тем самым намеренно причиняя ему нестерпимую физическую боль, подвергая насилью и унижениям...

И вот на вокзале жертва и преступник встретились лицом к лицу. Случайность это была или божий промысел? Не знаю.

Мы с Валерой крепко обнялись, посидели в привокзальной кафешке, обмыли встречу, однако про ограбление магазина и его сидение в КПЗ не обмолвились ни словом.

Запомнил от встречи лишь одно: мне было стыдно перед Валерой.

Кочегары мы, не плотники

На краю глубокого оврага, разделявшего наше мордовское село Томылово на две части – «алопе»³ и «верепе»⁴, – стояло неказистое приземистое здание из серого кирпича с дымящей трубой. Это была кочегарка, которая отапливала школу и двухэтажный кирпичный дом для учителей. В эту кочегарку я и устроился истопником, получив аттестат зрелости.

Слева от входных дверей – куча угля, справа – куча золы, курящаяся сизым дымком. На фасаде большое, на всю стену, окно, закоптелое, его никто и никогда не мыл, не протирал. А под окном в кирпичной стене квадратная дыра, сквозь нее уголь подается вовнутрь, прямо к топке парового котла.

В кочегарке пахнет угольным дымом, ноздреватым шлаком, машинным маслом, каленым кирпичом и железом.

Темные углы затянуты густой паутиной...

Очень неудобно, темно и угарно было в кочегарке.

Из благ цивилизации лишь ободранный, с выпирающими ржавыми пружинами диван, который мы с Гешей, моим двоюродным братом и тоже кочегаром, приволокли из сарая соседа, проще говоря – сперли.

И я, закопченный, в фуфайке, испачканной углем и мазутом, в кирзе, в рваных, прожженных рукавицах – тот еще вид у меня был. Но я был молод, мне было всего восемнадцать лет, а в этом возрасте всегда и везде можно найти повод для радости и веселья, даже в убогой кочегарке.

В котельной – днем, но чаще всего ночью – я пел песни, развлекая самого себя, не давая себе уснуть.

Репертуар у меня был довольно обширный: тут были и «Летит, летит по небу клин усталый», и «Бьется в тесной печурке огонь», и «Как родная меня мать провожала», но чаще всего я пел песню из репертуара Аллы Пугачевой, которая только прозвучала в эфире и пользовалась ошеломительным успехом:

Так же, как все, как все, как все,
Я по земле хожу, хожу.
И у судьбы, как все, как все,
Счастья себе прошу.

Так, с песнями, а иногда и с плясками, я и проводил бессонные ночи.

Человек поет, когда на душе у него хорошо, когда он счастлив.

Поверьте, это было замечательное время. Бывало, кинешь в топку несколько совковых лопат каменного угля – и ты целый час свободен, сидишь да книжки почитываешь, готовишься поступать на факультет журналистики Московского государственного университета.

Сажу я как-то мартовским вечером в своей кочегарке на раздолбанном грязном диване, читаю «Преступление и наказание» Достоевского. Вдруг дощатая дверь со скрипом распаивается и в кочегарку влетает Иван Вердапов, завхоз школы. Именно влетает, несмотря на свои крупные габариты и тяжелый вес.

– В школе грабитель, я видел огоньки зажженных спичек. Пойдем посмотрим, кто там! – сказал он возбужденным голосом.

– Пошли, – сказал я, – только дай кину уголька в топку...

³ Алопе – нижний конец (мордов.).

⁴ Верепе – верхний конец (мордов.).

Кинул в печь угля, взял в руки тяжелый лом – так, на всякий случай...

Я был в ватнике, Вердапов тоже в ватнике, в те времена, в конце 70-х, все село ходило в ватниках: и мужики, и бабы, и парни, и девки.

...Стекло в окне у входного тамбура было разбито, значит, действительно кто-то проник внутрь школы.

Открыли ключом замок входной двери, вошли...

Школа казалась вымершей, стояла гулкая тишина. И эта гробовая тишина щекотала нервы. Когда знаешь, что на тебя в любой момент могут кинуться из темноты, тишину переносить не так легко...

В плотной темноте, до первого выключателя, мы продвигались очень медленно, затаив дыхание: Вердапов – впереди, я – за ним. Лезть на рожон мне не очень-то и хотелось. Вдруг вор стоит за углом – или с ножом, или, что еще страшнее, с ружьем. Пальнет, чего доброго, из дробовика – мало не покажется. Я уже лежал в больнице с огнестрельным ранением, когда с пяти шагов в меня шмальнул парень из параллельного 9-го «Б» класса. То еще удовольствие, скажу я вам...

В классах мы никого не нашли. Никого не было ни в кабинете директора школы, ни в учительской.

Оставалась столовая, кухня и спортзал...

В столовой Вердапов просунул голову в окошко для раздачи пищи, чтобы взглянуть, нет ли кого-нибудь на кухне, – и в этом была его грубейшая ошибка. Удар ножа по лицу застал его врасплох. С диким воплем Вердапов отшатнулся от проема, через который учащимся выдавали порции еды, и упал на пол, обхватив лицо руками.

– Что с тобой?! – воскликнул я, ошалев от испуга.

Вердапов на секунду поднял лицо, чтобы ответить мне, и я увидел, что все его лицо и шея залиты кровью.

Иван не мог вымолвить ни слова – так он был испуган.

Я не понимал, что произошло, и меня охватила паника.

В эту минуту в проеме раздаточного окна я увидел лицо человека: в его зубах был зажат окровавленный нож. Я не сразу узнал в незнакомце своего троюродного брата – двадцатипятилетнего Шурика.

Шурик был пьян. Как выяснилось впоследствии, он выпил спирт из склянок с заспиртованными пресмыкающимися, находившимися в шкафу в кабинете биологии.

Вердапов выжил, а вор Шурик отсидел за это преступление семь лет.

Мои репетиторы

На днях услышал в метро разговор двух женщин.

– А ты знаешь, мой сын решил поступать в университет, взяла ему репетитора, – сказала одна другой.

– Да я своему давно уже оплачиваю уроки репетитора, боюсь только, будет ли толк. А вдруг деньги на ветер!

Да, сегодня все нанимают для своих любимых отпрысков репетиторов. Когда же я поступил в МГУ, а случилось это сорок пять лет назад, то моими «репетиторами» были деревенские Зорьки да Красотки...

Первые две записи в моей трудовой книжке – «кочегар в сельской котельной» и «работник животноводческой фермы» (в народе эту должность называют просто и незатейливо – пастух). Как это ни странно звучит, но я подался сразу после школы в пастухи и кочегары для того, чтобы поступить... в университет.

Я родился и вырос в мордовском селе, а потому, как и все его жители, ни черта не умел ни говорить, ни писать по-русски. А если и говорил, то наперекосяк, очень косноязычно. И я решил устроиться на такую работу, чтобы у меня была уйма свободного времени, чтобы можно было запоем читать книги. Именно такую возможность, как мне казалось, и давала работа в сельской котельной. Бросишь, бывало, несколько совковых лопат уголька в жаркую топку – и ты почти целый час свободен, можешь читать сколько душе угодно, до тех пор, пока топка не потребует очередной порции угля.

Бесхитростная пастушеская жизнь, по правде говоря, мне тоже очень нравилась. Случалось, проснешься среди бела дня посреди широких лугов, потянешься, встряхнешься, расправишь свои разнежившиеся члены, заправишься редькой с квасом да и попердываешь басом. Или распевашь песни во все горло, как жаворонок в вышине, бродишь по холмам, лесам, лугам, утоляя жажду текучим хрусталем ключей, набиваешь рот земляникой, собираешь грибы. И читаешь, читаешь, читаешь, а потом пересказываешь прочитанное Зорькам да Красоткам вслух, учишься разговаривать по-русски.

Помню, я допускал столько грубейших ошибок, так безбожно перевирал ударения, путал мужской и женский род, что даже коровы – и те не хотели слушать мои пересказы, трубным мычанием то и дело перебивали меня, а бык-осеменитель даже несколько раз осатанело бросался на меня, пытаясь поддеть на рога. Но я не обращал внимания на грубые протесты рога того скота и продолжал штудировать «великий и могучий»...

И с 15 октября по 15 апреля я работал кочегаром, а с 15 апреля по 15 октября – пастухом. И так в течение двух лет: летом «крутил хвосты» коровам, зимой бросал уголек в топку.

И что же вы думаете? В университет я так-таки поступил! И случилось это в 1981 году. Я до сих пор горд тем, что мое сочинение по русскому языку и литературе проверял замечательный представитель семейства Толстых – профессор Илья Владимирович, и потомок Льва Николаевича поставил мне пятерку! Прекрасно сдал я устный экзамен и по русскому языку. Правда, когда в конце июля я вернулся в родное село и предложил друзьям отметить это эпохальное событие в моей жизни – зачисление в студенты престижнейшего столичного университета, – никто из них мне не поверил. Хватит, мол, заливать, в МГУ поступают только по большому благу, дети писателей да артистов.

Я обиделся: не хотите поздравить меня – и не надо, как-нибудь обойдусь и без ваших напутственных слов. И только когда в конце августа из университета пришла по почте бумага: «Уважаемый Геннадий Юрьевич! Сообщаем вам, что 1 сентября начинаются занятия на факультете журналистики. Просим вас явиться к началу занятий без опозданий», все так и ахнули: «Чудеса, да и только!»

Взятка «степенному»

Эта постыдная сцена произошла в здании факультета журналистики МГУ на Моховой, на втором этаже, в коридоре, у чугунной балюстрады. Длилась эта сцена не более минуты, но запомнилась – на всю жизнь.

На фасаде животноводческой фермы, где я работал скотником и пастухом, годами висел выцветший от солнца и непогоды плакат: «Колхозники и работники совхозов! Настойчиво добивайтесь выполнения заданий пятилетки по производству и продаже государству продукции земледелия и животноводства!»

В 1980 году я остался глух к социалистическому призыву и не стал добиваться «выполнения заданий пятилетки», уехал в Москву – сдавать вступительные экзамены на факультет журналистики МГУ.

Перед отъездом я в последний раз обошел все стадо коров, ласково и нежно попрощавшись с каждой из них. Я брал руками головы Зорьки, Субботки, Вечерки (в моем стаде каждая корова носила собственное имя!) и горячо целовал их в лоб, а в ответ коровушка лизала меня своим теплым, мокрым, шершавым языком.

В совхозном стаде было более 320 коров, и церемония расставания несколько затянулась, но она того стоила – я всплакнул...

Нахлобучив на голову свою шикарную шляпу, а я всегда ходил в шляпе, изображая из себя сельского интеллигента, напоследок залихватски щелкнул пастушеским кнутом и направился восвояси – в новую жизнь.

Но – увы и ах! – вступительные экзамены я в тот год, год Олимпиады, завалил.

...Помню, стоим мы с мамой в коридоре факультета, на втором этаже, у чугунной балюстрады, под стеклянной куполообразной крышей. Я убит горем. Убита горем и моя мама. Она делила со мной все радости и горести, переживала за меня, оберегала и лелеяла как могла. И, как оказалось, ради меня, своего любимого и ненаглядного сыночка, она готова была пойти даже на преступление.

– Надо дать кому-то взятку! – решительно сказала мама. – Но шут его знает, кому дать!

Ей было ясно, что надо дать «взятку», но как это делается и кому, она не знала. Не было у нее такого житейского опыта. По крайней мере, в новой для нее городской среде, ведь в нашем мордовском селе Томылово под взяткой подразумевалась бутылка или литр самогона – и только.

– Ты с ума сошла?! Не срами меня! – возмутился я.

– Ничего ты не петришь! Человеку на то и руки привешены, чтобы брать! – отмахнулась мама.

Я не стал спорить с ней, обиженно замолчал.

– Вон какой-то степенный мужчина идет! Сейчас ему суну! – сказала она полушепотом, указав глазами на невысокого солидного мужчину в сером костюме и в черных роговых очках, с коричневым портфелем в руках.

Для матери, работавшей уборщицей в конторе совхоза, каждый мужчина в костюме и галстук, да еще с пузатым портфелем в руках, был начальник. А слово «степенный» в ее устах было наивысшей похвалой.

Будь с мужчиной какие-то люди, мать, конечно же, не решилась бы подойти к нему, духа бы не хватило, но он шел по коридору один.

– Ты с ума сошла, мама! – с испугом воскликнул я.

Но мама – баба боевая и решительная – быстро достала черный кошелек из правого кармана бордовой кофты, щелкнула замочком-поцелуйчиком (помните два «целующихся» никелированных шарика?), вынула одну из двух пятидесятирублевых, убрала кошелек обратно в

карман и, зажав купюру в руке, с плотно сжатым ртом – знак твердой решимости – двинулась навстречу «степенному».

Все произошло очень неожиданно... Хотя нет, не совсем неожиданно. Поговорки типа «дай грош – будешь хорош», «за посул денег не берут», «сухая ложка рот дерет», «не подмажешь – не поедешь» то и дело мелькали в маминой речи.

Я не был готов к такому крутому обороту событий. Мне бы выхватить, отобрать у мамы кошелек и тем самым не дать ей осквернить святые стены университета, но помешала подленькая мысль: а вдруг прокатит?!

Я не могу сказать, что мужчина с портфелем пришел в сильное замешательство, когда мама протянула ему деньги:

– На, возьми!

Так и сказала: кратко, без всяких объяснений.

Суровый, угрюмый мужчина взглянул на маму, совершенно не понимая, что хочет от него эта странная женщина, метнул тот же непонимающий взгляд на меня, скромно стоявшего в сторонке, но я мигом отвернулся: знать ничего не знаю, ведать не ведаю...

Я замер от стыда и страха. Ну, думаю, сейчас начнется – крик, шум, гам... позорное изгнание из здания факультета...

И вдруг слышу: смех.

Да, угрюмый мужчина громко засмеялся!

Ух, отлегло от сердца, и я снова встал вполоборота, чтобы видеть все происходящее. Любопытство – мой порок...

Широко улыбаясь, мужчина мягко, но настойчиво и очень спокойно, без всяких испуганных, тревожных оглядок по сторонам, отстранил руку мамы с жалкой полусоткой, спросил:

– Откель вы такая приехали?

Мужчина с портфелем понял, что перед ним стоит простая деревенская баба, это было ясно уже по тому, как была одета моя мама – в бордовой теплой кофте, черной шерстяной юбке, в матерчатых чулках телесного цвета и резиновых галошах – «степенный» заговорил, не погнушавшись просторечным словом.

– Из Тумолова⁵ мы... Из Ульяновской области... Возьми! Возьми! Пригодятся деньги, чай! Детям обувь и одежду купишь! – упорствовала мама.

Мама – женщина простая, без затей – сразу же перешла на «ты». Но когда она стала настаивать, «степенный» вдруг весь изменился в лице, улыбка вмиг исчезла с его лица, и он сказал строго:

– Прошу вас, уберите! И идите с богом!

Мама, женщина неглупая, два раза повторять ей не надо было, послушно спрятала деньги в карман кофты, повернулась и быстро пошла по коридору...

Чувствуя обжигающий стыд и за мать, и, конечно же, за себя, ведь я не воспрепятствовал ей, не помешал ее попытке «дать на лапу», быстро зашагал прочь по коридору. Проходя мимо бюста Ивана Гончарова, я подмигнул писателю и с горечью сказал:

– Да, земляк! И такое бывает! Обыкновенная история!

На первом этаже, у самого выхода, я с тоской обернулся на мраморную лестницу, на портрет Ломоносова и с той же степенью горечи сказал:

– Эх, какая же я скотина, Михайло Васильевич! Нет, рано мне еще выходить в люди! Возвращаюсь на скотный двор!

Мы вышли из здания факультета на Моховой, так и не поняв, кто был тот мужчина, которому мама попыталась всучить взятку.

⁵ Мама произнесла название нашего села на мордовский лад.

Удрученный неудачей, опозоренный, я вернулся в родное село Тоылово, снова пошел работать на ферму, как я выразился, на «скотный двор». До поздней осени я пас совхозное стадо, а в середине октября ушел в школьную кочегарку истопником...

Да, с новой жизнью, с новыми блистательными перспективами мне пришлось малость повременить.

Только на следующий год мне удалось успешно сдать вступительные экзамены, причем, заметьте, без всякой взятки.

Совсем скоро я встретил на факультете, в коридоре, у балюстрады, почти на том же самом месте, того самого шапочного знакомца – «степенного». Как оказалось, это был секретарь парткома факультета Блажнов. Помню, с замиранием сердца я прошел мимо него, но Евгений Алексеевич, слава богу, меня не узнал. Или по крайней мере сделал вид, что не узнал...

В начале 90-х годов прошлого века Блажнов эмигрировал в США, «унес родину на подметках своих сапог». Интересно, помнил ли Евгений Алексеевич этот эпизод? Я помню. И до сих пор вспоминаю, но, признаться, уже без всякого стыда. Ну было и было, кто из нас без греха...

27 июля

27 июля – самый счастливый день в моей жизни...

27 июля – самый несчастливый день в моей жизни...

Поверьте, я не забыл основы логики, которые нам преподавали в университете, и между этими двумя утверждениями нет противоречия: и то и другое утверждение верно.

Сама жизнь порой бывает нелогична. 27 июля 1981 года на фасаде факультета журналистики вывесили список абитуриентов, принятых на первый курс. Я захлопал в ладоши и станцевал несколько па, когда под номером 33 увидел свою фамилию, имя и отчество – ЛЮЛЬКИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ.

Это была моя триумфальная победа.

– А ты не хочешь стать генсеком и сесть в Кремле? – язвительно подкалывали меня мои деревенские друзья. Поступить в университет или «стать генсеком и сесть в Кремле» им казалось равносильным, из мира фантастики.

И вот я доказал, что не лыком шит.

Запомнилось, как я в тот же день в первый раз – уже в качестве студента – поднялся по центральной лестнице из белого мрамора, как с минуту топтался у ее подножия, не смея ступить на первую ступеньку. Под пристальным взглядом Михайло Васильевича я поднимался очень медленно, останавливаясь на каждой ступеньке. Я не сомневался, что мое триумфальное восхождение по красивейшей университетской лестнице навеки останется в памяти, его не сотрет даже деменция, которой, не дай бог, могу заболеть на старости лет.

Такие духоподъемные моменты никогда не забываются.

Одно лишь воспоминание омрачало радость этого солнечного июльского дня.

Ровно шесть лет назад, 27 июля 1975 года, в сених нашего дома на дубовой балке, на блескучем шнуре повесился мой отец.

Юрику – так звали моего отца – было всего сорок девять лет.

Я вспомнил, как я, тринадцатилетний мальчишка, вместе с дядей Ваней снимал с петли мертвое тело отца. Это было самое травмирующее событие в моей жизни, которое не дай бог кому пережить. Именно после всего пережитого ужаса в эту июльскую ночь я и сел писать.

Шок в университете

Коридор на втором этаже факультета журналистики МГУ, где расположен кабинет декана Ясена Засурского, весь в окнах. Здесь при ярком свете дня я, тогда еще первокурсник, увидел такую картину: из кабинета с ясеневыми шкафами выходит Ясен Николаевич, в костюме и галстук, а в ином одеянии декана я никогда не видел, идет по коридору в сторону учебной части, где на фанерных щитах висят расписания и объявления, встречает молодую преподавательницу и, низко склонившись, целует ей руку. Целует так умело, вдохновенно и естественно, что было видно: целование женских рук вошло у Ясена Николаевича в привычку.

Нет, это была даже не привычка, а – культ.

Эта трогательная и целомудренная сцена повергла меня в шок. Ничего подобного я в жизни не видел. Можно сказать, меня контузило. Да, я читал в книгах, что интеллигентные мужчины целуют руки женщинам, да, я видел такие сцены в кино, но собственными глазами такую картину я наблюдал впервые.

Я стоял как вкопанный и во все глаза смотрел на эту невероятную сцену. Блин! Оказывается, к женщине можно относиться ТАК. Не бить ее, не покрывать ее матом, а целовать ей руки.

Всю жизнь мой отец в пьяном угаре остервенело избивал маму, сопровождая свои избиения потоком блевотных матерных слов, а тут, оказывается, можно целовать руки женщинам.

Ясен Николаевич преподавал урок – с каким уважением и любовью надо относиться к женщине. И, кто знает, может быть, это был самый великий урок, который я получил не в аудиториях – Ленинской или Коммунистической, а в коридоре факультета, рядом с учебной частью, очень прозаично называемой некоторыми студентами «канцелярией».

Первая командировка

В 1983 году, на втором курсе, я поехал от газеты «Советская Россия» в подмосковный совхоз «Победа» в свою первую командировку: я должен был написать очерк о культуре социалистического труда.

Лев Гушин, редактор отдела, провожая меня в путь, сообщил об этом хозяйстве только общие сведения: самые высокие в Подмоскowie надои молока, самые высокие урожаи зерновых, упомянул переходящее Красное знамя...

Первое, что я услышал, подходя к конторе совхоза, – сплошной мат-перемат. Нет, никаких стилистических особенностей, никакого лексического многообразия я не услышал от совхозников, все матерные слова были стары как мир. Да и произносились они без всякого душевного надрыва, очень просто и буднично, работники совхоза использовали мат не для выражения чувств и эмоций, а для связки слов.

Я резко повернулся и ушел обратно к железнодорожной станции.

«Там, где мат, не может быть культуры труда!» – уверен был я.

Так неудачно закончилась моя первая командировка от «Совраски», как ласково называли газету в советские времена.

Обидно, но всеобщая матюгализация помешала мне заработать первый гонорар в центральной газете. Второй командировки, как вы понимаете, не последовало.

Слепцы

Ехали мы как-то в метро – Алов, Горлов, Бочаров, Гуркин, Сущеня и я, – и тут тридцатилетний Сашка Бочаров, парторг нашего курса, предложил подсчитать всех красивых девушек, которые встретятся нам, когда мы будем подниматься по эскалатору.

Договорились, что каждый считает про себя, а поднявшись наверх, вслух называет цифру.

Стоим на эскалаторе, внимательно всматриваясь в лица девушек, спускавшихся нам навстречу по соседней движущейся дорожке. Оцениваем каждую из них, симпатична или так себе, опьяняет ее красота или не опьяняет...

Выйдя на улицу, ребята по очереди называют цифру: одна... две... три...

– Двадцать восемь! – вдруг выдает Бочаров.

– Сашка, ты что, и старушек считал? – засмеялся красавец Алов, считавшийся среди нас первым сердцеедом.

Все хохочем, и в нашем хохоте явно слышны издевательские нотки...

– У Сашки наметанный глаз! Даже в уродстве он видит красоту! – сказал я.

В наш разговор толику смеха внес и Толик Сущеня, белорусский парень по прозвищу Змей. Согнувшись в три погибели, изобразив древнюю старуху, он подошел к Бочарову, тронул его за рукав и шепелявым голосом молвил:

– Сынок, ты и меня посчитал, что ль?

Мы снова хохочем...

Но Сашка ничуть не смутился.

– Слепцы! – воскликнул он.

Отойдя в сторону, повернулся к нам лицом и с чувством продекламировал:

Чем старше Женщина —
Тем больше преимуществ.
Она мудрей, хитрее, и нежней,
И четче знает, кто ей в жизни нужен,
И юной деве не сравниться с ней.

Вот такой урок преподавал нам парторг курса Сашка Бочаров.

Правда, сам он женился на юной деве на четвертом или на пятом курсе, сейчас я уже точно не помню...

Брага от парторга курса

Василий Шукшин однажды написал: «В трех случаях особенно отчетливо понимаю, что напрасно трачу время: 1. Когда стою в очереди. 2. Когда читаю чью-нибудь бездарную рукопись. 3. Когда сижу на собрании».

От себя я бы добавил еще один пункт: когда слушаю скучную, железобетонную лекцию. В университете многие преподаватели занимались тем, что переливали из пустого в порожнее: научный коммунизм, теория и практика советской партийной печати... К примеру, какую-то партийную блажь и околесицу преподавал профессор Евгений Блажнов.

Чтобы не терять время, я просто-напросто не ходил на «идеологические» лекции, где шло оболванивание молодых людей, нагло прогуливал их.

Меня не раз вызывали на учебно-воспитательную комиссию, на УВК, где устраивали образцово-показательную порку с вынесением выговора, но я по-прежнему их прогуливал. Слушать эти лекции мне было невыносимо скучно, как, впрочем, и многим другим моим однокурсникам. Однажды я насчитал на одной из идеологических лекций всего 12 слушателей из 250 учившихся на нашем курсе. Коммунистическая идеология уже не котировалась, она явно изжила себя. И особенно среди образованных, культурных людей...

Это была одна причина быстрого развала партийной системы.

А вот и другая причина. У парторга нашего курса Сашки Бочарова были огненно-рыжие волосы, и без всяких фантазий, недолго думая, мы дали ему прозвище Рыжий. Это был веселый, шумный, суетливо-неугомонный парень. Про таких неусидчивых говорят: шило в заднице. Представить, что Сашка тихо сидит где-нибудь в уголке или в читальном зале, я не могу. Не тот характер. Он все время что-нибудь замышлял, но все его идеи крутились вокруг одного – выпивки. Он всегда куда-нибудь бежал, что-нибудь выдумывал, что-то приносил...

Все мои друзья студенческих лет – Миша Алов, Костя Горлов, Толик Сущеня – были старше меня, а Саша Бочаров, бывший прапорщик, аж на целых десять лет. В молодом возрасте год идет за пять лет, но еще до поступления в университет я многое успел пережить, поэтому вел себя со своими друзьями наравне, по-взрослому.

Однажды Бочаров приволок в нашу комнату в ДАСе трехведерную флягу. И под руководством бывшего прапора и – ПАРТОРГА КУРСА! – мы быстрехонько сварганили брагу.

– С бражкой у нас будет полная алкогольная независимость! – сказал Сашка.

– Бочаров, судя по твоей фамилии, твои предки были бочарами – мастерами по изготовлению бочек. Иметь в комнате бочку или флягу – это зов крови, неосознанное желание, наследственный рефлекс, – сказал Миша Алов.

Технологию самогонарения мы все знали прекрасно. Да и разве есть в России человек, который не знал технологию производства самогона?!

Поставили флягу с брагой в ванной комнате. Дверь законопатили, замазали щели пластилином, чтобы бражный дух не расплылся по всему коридору. Умывались и ходили по нужде в соседнюю комнату, где жил Толик Сущеня.

Через десять дней бражка доспела.

И в пятницу вечером мы устроили славную попойку.

– Так выпьем же за моих предков – профессиональных бочаров! – сказал Сашка, когда мы небольшой компанией открыли флягу с бражкой. Помню, как очки Рыжего бликовали при свете настольной лампы, когда мы разливали в стаканы отдающую дрожжами желтовато-мутную жидкость, помню, как ликовали наши молодые сердца.

– Марочкин, айда с нами! – обратился Бочаров к Володе Марочкину, который жил с нами в одной комнате, но никогда в наших попойках не участвовал. Марочкин впоследствии

стал довольно известным музыкальным критиком. Еще учась в университете, начал выпускать музыкальный самиздатовский журнал «Зомби».

– Я не пью! – сухо отозвался Володя.

– Судя по его фамилии, Марочкин пьет только марочные вина, – сказал Мишка Алов. – Анекдот вспомнился: «Русские изобрели брагу, самогон и водку, но вот почему они не смогли изобрести коньяк и марочные вина?» – «Ну ты, блин, спросил! Там же выдержки не на один год!»

В нашей комнате стоял сломанный проигрыватель. Накачавшись бражкой, один из нас пальцем начал крутить пластинку, а все остальные пустились в заливчатский пляс. В студенческие годы мы умудрялись создать веселье из всего, что было под рукой, даже из хлама.

– Господи, за что мне такое наказание! Я же вырос, слушая Piano Concerto Рахманинова, Чайковского, Моцарта, а теперь вынужден слушать и смотреть ваши пьяные концерты! – в сердцах крикнул Марочкин.

В ответ раздался взрыв пьяного хохота...

Надеюсь, что и наши пьяные концерты пошли ему на пользу... Поздно ночью все легли, мертвецки пьяные.

А в субботу утром, 1 мая 1982 года, Сашка быстренько опохмелился, умылся, побрился, оделся во все чистое и парадное и умчался на Первомайскую демонстрацию. Он же ПАРТОРГ КУРСА!

Как потом со смехом рассказывал нам Сашка, проходя по Красной площади с воздушными шариками в руках, он любовно помахал ручкой Леониду Ильичу, стоявшему вместе с членами Политбюро на высоком кремлевском крыльце.

Ясное дело, если бы флягу с бражкой обнаружила администрация общежития, нам бы не поздоровилось. Наверняка всех отчислили бы из университета, а Рыжего изгнали бы из доблестных рядов КПСС. Но когда ты пьян, тебе все нипочем – даже отчисление из университета не пугает.

Так скажите мне: разве после таких гульбищ во главе с парторгом можно было относиться к КПСС, ко всей партийной системе серьезно?!

Капец коммунизму!

На втором курсе журфака МГУ мы вели жизнь бестолковую: мало ели, много пили...

В воскресенье утром кушать было нечего, курить было нечего, все спиртное было выпито еще в субботу вечером, и мы – коммунист Бочаров и беспартийные Алов, Горлов и я – отправились на вольный промысел.

– Пошли, у Чхартишвили чача есть! – предложил рыжий, веснушчатый Сашка Бочаров, парторг нашего курса. Тридцатилетний бывший прапор, даже находясь в глубочайшем похмелье, не терял оптимизма и бодрости духа.

Чачи у грузина не оказалось.

– Пошли, у Гуркина «Тройной» есть! – не унимался Бочаров.

Одеколону у Виктора тоже не оказалось.

Целый час мы колобродили по этажам и коридорам общежития в надежде занять у кого-нибудь денег на опохмелку, но в то скверное утро нас так никто и не выручил. Доверие общежитского люда мы потеряли окончательно – никто не дал нам ни шиша.

В этой безнадежной ситуации Бочаров предложил подняться на шестнадцатый этаж и плюнуть с высоты на нашу брентную жизнь...

– Ну так давай, двигай вперед! Партия – наш рулевой! – сказал я.

Мы гуськом вслед за Бочаровым поднялись по лестнице на самую верхотуру, на шестнадцатый этаж. Пока взбирались, выбились из сил и минут пять тяжело дышали и отдувались. С похмелья подъем по нескончаемым крутым лестницам нелегко дался даже бывшему цирковому гимнасту Алову.

И так же, гуськом, направились в просторный холл, расположенный на этаже, справа от лестницы...

Бочаров высунул голову из открытого окна и, перегнувшись через подоконник, смачно плюнул. И долго-предолго смотрел, как жирный плевок падает вниз, на тротуар.

Я видел, как в эту минуту свежий ветерок ворошил его рыжую шевелюру.

Бочаров, выпрямившись, воздел руки к небу и дурашливым голосом произнес:

– Боженька, подай нам денег на опохмелку! Или сотвори вино из воды! Спаси нас! Помоги нам воскреснуть в этот воскресный день!

И, обернувшись к нам, сказал:

– Вот увидите, бог нас услышит, и скоро денег у нас будет до черта!

И то ли на радостях, то ли еще по какой причине, Сашка схватил пустую металлическую урну, стоящую в углу, и с победным криком: «Да здравствует коммунизм!» – вышвырнул ее в распахнутое окно.

Бабах!.. Бабах!.. Бабах!..

Внизу раздался такой страшный грохот, что оба громадных шестнадцатизэтажных корпуса общежития вздрогнули от испуга.

И долго еще урна перекатывалась по асфальтированной дорожке, грохоча и подпрыгивая.

Мы и глазом не успели моргнуть, как парторг курса превратился в буйного погромщика.

Честно признаться, мы привыкли, что Сашка мог отмочить какую-нибудь штуку, в каком бы настроении он ни находился. Он всегда был шумен, резок, суетлив, слова, жесты и поступки его были на редкость неожиданными. Но чтобы бросить урну в окно, это, знаете ли, не всякому под силу, тут, согласитесь, без ума и сноровки не обойтись!

– Капец коммунизму! – мрачно сказал Горлов, с невозмутимым видом глядя в окно. Костя был очень скуп на слова, но каждое его слово было на вес золота, било в самую точку.

Костя писал талантливые стихи, а всякий поэт, как вам известно, – это прорицатель. Ведун, как сказали бы в той глухой костромской деревне, откуда он приехал учиться в Москву.

Мы посмеялись над этой немудреной скупой фразой нашего друга – и только. Тогда мы не понимали, насколько серьезными и верными были его слова. Они оказались пророческими.

Да, только поэт мог почувствовать в атмосфере грядущую катастрофу.

Эта безобразная, но очень символическая сцена с участием парторга курса Сашки Бочарова случилась в марте 1982 года. А всего через девять лет, в марте 1991 года, с треском и грохотом рухнула вся советская партийная система.

Русский язык я изучал не по учебникам

...Мы, первокурсники, играем в футбол на зеленой лужайке перед зданием ДАСа, бегаем по импровизированному футбольному полю. Виктор Гуркин, Володя Чеботаев, Андрей Мартинов, Сергей Громов...

Один из футболистов – Виктор Хруль, ныне доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы экономики, *honoris causa* нескольких зарубежных университетов...

Из меня, честно признаюсь, нападающий или защитник никакой, поэтому я стою в воротах...

В первый год я очень тосковал по маме и отчому дому, по родному мордовскому селу Томылову и его жителям, очень тосковал. И я даже несколько раз ездил на Казанский вокзал, где веяло чем-то знакомым и родным, в надежде встретить кого-нибудь из земляков. Именно на поезде Москва – Ташкент я и приехал на этот красивый вокзал в конце августа 1981 года.

Всматриваясь в лица пассажиров, прибывших на поезде, я вслушивался в их волжский говор и чувствовал к ним необыкновенную нежность.

Я был слишком привязан к родным местам, я слишком долго – девятнадцать лет! – там прожил, чтобы легко, без душевной боли расстаться...

И вот пока ребята бегали за мячом у противоположных ворот, я воспользовался моментом и прильнул к земле, чтобы восстановить в памяти те прекрасные мгновения, когда в деревне пастушком «мял цветы, валялся на траве». Когда я засыпал на лесной опушке, просыпаясь от того, что какая-нибудь бодливая Красотка тыкала мне в ухо влажной теплой мордой.

Я лежал на лужайке перед ДАСом, и от матушки-земли веяло душистым ароматом, нагретой на солнце травой. Так чудесно было лежать на теплой земле под легким ветерком и чувствовать, как твое тело набирается сил и энергии.

Честно скажу, я весь сомлел, мне было так хорошо, что я забыл следить за играющими, за мячом.

Из блаженного состояния покоя и тишины меня вывел исступленный крик Виктора Хруля:

– Геша, в ж... у тебя!

Виктор подбежал, злой, ошалелый, дикий.

– Геша, в ж... у тебя! – повторил он грубую фразу, подойдя ко мне вплотную.

Оказывается, пока я валялся на траве и мял цветы, мяч залетел в наши ворота, вот Виктор и пришел в ярость.

Я встал, щелчком пальцев сбросил с плеча Виктора, а он был в синей футболке и красных спортивных трусах, зеленую травинку и захохотал.

Весело и радостно у меня было на душе. От неба. От солнца. От земли.

Переполненный силой и энергией, ошалев от необыкновенного веселья и радости, я даже прошелся на руках.

– Виктор, гол – это такой пустяк! Я прикоснулся к земле, как Антей, и теперь мы обязательно выиграем! Поверь мне!

И мы действительно выиграли.

...Да, друзья, я помню те далекие и благодные времена, когда доктор филологических наук, профессор мог свирепо крикнуть тебе в лицо:

– Геша, в ж... у тебя!

Сегодня, по прошествии сорока пяти лет, грубая фраза Виктора кажется мне очень милой, теплой и душевной.

Верно говорят: время преображает все – и события, и фразы...

«Не морочьте мне голову!»

Студенческие годы – самые счастливые в моей жизни. И я всех люблю: и студентов, и преподавателей. И даже профессора Евгения Павловича Прохорова, «благодаря» которому я остался без диплома. Если на первом курсе его учебник «Введение в теорию журналистики» я с трудом, но все-таки осилил и сдал экзамен на четверку, и причем с первого раза, то на пятом курсе я так-таки не смог преодолеть, скажем мягко, нежелание «читать Прохорова», понадеялся на русский авось. И поплатился! Прохорову без всякого труда удалось утопить меня в мутных водах партийной демагогии.

Из стен универа я вместо диплома вышел с такой вот бумаженцией: «Справка дана Люлькину Геннадию Юрьевичу, в то, что он действительно являлся студентом I–V курсов с 1981 по 1986 г. г. дневного отделения факультета журналистики МГУ и получал стипендию 40 руб. в месяц. Справка выдана для предоставления по месту требования». (Стилистика и орфография сохранены. – *Прим. автора.*)

С этим убийственным «документом» я и был отправлен в российскую глубинку, за 101 километр. Однако упорного мордовского парня не так-то просто сбить с ног. Скоро я вернулся в Москву, где я без всякого диплома, запросто устраивался на работу в редакции, в том числе и центральных газет...

И парторга факультета Блажнова – «верного слугу партии» – тоже люблю! Забавный был мужичок! Помню, кажется, на третьем курсе пришел к нему сдавать экзамен. Сел за письменный стол напротив этого мрачного, безулыбчивого господина в сером поношенном костюме, в галстук, в темных роговых очках, и у нас начался дивный разговор.

– Вы кто, молодой человек? Что-то я вас не припомню...

Каюсь: лекции Евгения Алексеевича по истории КПСС я не посещал, и видеть меня он действительно не мог.

– «Не лезь в первые ряды!» – так меня мама воспитывала, вот я и сидел скромно на ваших занятиях в дальнем углу. Вы меня просто не заметили, – говорю.

– Не морочьте мне голову! – с раздражением сказал Блажнов. – Где ваш конспект?

Никакого конспекта, разумеется, у меня не было. На экзамен я прихватил чей-то чужой, не помню, кто мне его дал. Толстый такой конспект, очень внушительный и добротный сделанный.

Блажнов долго и внимательно рассматривал сей кропотливый труд, полистал его страницы и вдруг говорит:

– Это не ваш конспект.

– Мой, – говорю.

– Не ваш.

– Мой! – упорно твержу я.

– Что ж! Мы сейчас это установим! Пишите!

Под диктовку парторга я написал несколько длинных предложений о роли партии в жизни советского народа.

Сравнив мой почерк с тем, что был в конспекте, проведя тщательную графологическую экспертизу, он сказал решительно:

– Нет, не ваш это конспект! Почерк разный!

И с благородным возмущением в голосе добавил:

– Как же вы низко пали, молодой человек! Предъявить чужой конспект!

– Это мой конспект! – продолжал настаивать я. – А по поводу почерка... У всех талантливых людей должен быть собственный почерк!

Слов Довлатова: «Все талантливые люди пишут разное, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком», – этих мудрых слов писателя я тогда не знал, иначе бы обязательно их процитировал.

– Журналистика – это не творчество! Это служение партии и, прежде всего, народу! Понимаете ли вы это?! Слу-же-ни-е!!!

И Евгений Алексеевич еще долго ботал по партийной фене, изводил меня идеологическими лозунгами, типа: «Журналисты – передовой отряд партии, а вы... Эх, молодой человек!»

Короче, экзамен я тогда провалил, пересдал его лишь осенью...

С той поры прошло больше сорока лет, а я продолжаю вспоминать и Прохорова, и Блажнова с некоторой грустью и печалью. Все-таки милые это были люди! Они так же мне дороги и необходимы, как и все, что связано со студенческими годами моей жизни.

Люлькин, на ежа садиться без штанов не советую!

На картошке, в Бородино, мы жили в совхозном пионерском лагере, по восемь – десять человек в комнате...

Парень я деревенский, а нас, сельских жителей, что отличает? Правильно! Крепкий здоровый сон. Ночами я давал такого дикого храпака, что однажды ребята не выдержали и вынесли меня, спящего, вместе с кроватью. И не куда-нибудь в коридор, а не поленились и отнесли аж за территорию пионерского лагеря, в ближайшую березовую рощу.

Помню, проснулся я под утро от необычайной свежести, потянулся, открыл глаза и обомлел. В первые секунды я совершенно не понимал, что произошло, как оказался в лесочке. Я вскочил с кровати – слава богу, в трусах и майке, хотя любил спать нагишом, – не зная, куда бежать, как быть, но скоро додумался, что ребята взяли и подшутили надо мной.

Я считал, что не заслужил подобного оскорбления, и решил в долгу не остаться... Обернувшись в теплое шерстяное покрывало, как в тогу, я решительным бодрым шагом напрямик направился в тот корпус пионерского лагеря, где в отдельной комнате жил наш начальник курса Виталий Тищенко. Он сидел за столом, неспешно пил чай. Я без стеснения подсел к столу.

– Виталий Алексеевич, беда! Ребята мою кровать пропили! – заявил я.

– Как пропили?! Кому пропили?! – воскликнул Виталий Алексеевич, вскакивая с табуретки. По испуганному выражению его лица я понимал, что он – на грани обморока. – Кто пропили? Алов?! Бараночников?! Хабургаев?!!!

– Я не знаю, – пожал голым плечом я. – Знаю одно: шайка действовала – кровать-то тяжеленная. Взяли и отнесли ее в ближайшую деревню. А я вот всю ночь не спал, бродил вокруг лагеря. Некуда было голову преклонить.

– А ЭТО почему на вас? – Он дернул рукой за свисавший с меня конец покрывала. – И почему вы босиком?.. Что, черт возьми, происходит?!

– Свою одежду и обувь я не нашел. Наверное, тоже пропили... вместе с кроватью... – подбросил я дровишек в разгоравшийся костер. – Не верите – идите посмотрите сами – нет кровати...

Не сказав более ни слова, Тищенко стремительно, чуть не сбив меня с табуретки, бросился в мужской корпус пионерского лагеря. На ходу он накинул на себя курточку с балахоном.

– Подождите меня, Виталий Алексеевич...

– А чтоб тебя намочило, да не высушило! – сердито отмахнулся Тищенко и побежал. Он бежал неловкой рысью, полы его коричневой курточки трепались на ветру. На подороге он вдруг обернулся и бросил мне очень странную фразу: – Люлькин, на ежа садиться без штанов не советую!

И он засмеялся каким-то жутким, бессмысленным, неожиданным смехом. «Что это значит?» – встревожился я. Так и не поняв суть этой философской фразы, неожиданно вылетевшей из уст начальника курса, я с недоумением снова пожал голым плечом и неспешно поплелся вслед, любуясь предрассветной картиной, последней мигающей в небе яркой звездой.

Через минуту я подошел к тому корпусу, откуда меня вынесли вместе с кроватью. Внутри здания стоял такой жуткий переполох, что казалось, еще минута – и фанерные стены рухнут с оглушительным треском. Тищенко взвизгивал петушком, а ребята испуганно и нестройно покудахтывали, пытаясь оправдаться и что-то ему объяснить.

Как же я блаженствовал, ох, как же блаженствовал, слушая доносившиеся грубые выкрики! «Мне отмщение, и аз воздам!»

Хотя и понимал, что такое «отмщение» мне дорого может обойтись – я пробкой могу вылететь из университета за то, что ввел в заблуждение начальника курса...

Ситуацию удалось вырулить лишь благодаря тому, что руководил выносом моего тела Владимир Чеботаев, человек совершенно не пьющий. К тому же он был «в годах», почти одного возраста с начальником курса, а потому пользовался некоторым авторитетом в глазах Виталия Алексеевича. Справедливости ради скажу, что вместо того, чтобы строго наказать меня, начальник курса выдал мне справку об освобождении от работы. На один день. За что ему пусть и запоздалый, но низкий поклон...

Хорошо сидеть на крылечке в сатиновых трусах!

По происхождению я крестьянин, родом из деревни, и тяжелой, грязной работой меня не удивишь, но дожди в Бородино, «на картошке», в сентябре 1982 года шли так часто, что даже мне ковыряться в поле, в грязи и слякоти, жуть как надоело.

К тому же ты всегда находишься в толпе, всегда в гуще людей, а я социофоб по натуре своей.

А тут еще книгу захотелось почитать...

Ну и выпить, конечно же...

Короче, мне вусмерть захотелось побыть одному.

Утром, в ту минуту, когда все вышли из комнаты, чтобы сесть в автобус и ехать в поле, я юркнул под кровать, затаился. И сидел там тихо, так тихо, что даже начальник курса Виталий Тищенко, напоследок заглянувший в опустевшую комнату, меня не заметил.

А когда «весь колхоз» уехал в поле, я спокойно вылез из-под кровати, взял книгу (название, увы, не помню), достал «чакушечку», улегся на кровать и всей душой отдался чтению...

Иногда прерывался, взглядывал в окно, где шумел дождь, с тревогой думал: «И как там ребята и девчата в такую жуткую погоду работают? Промокли и мерзнут, небось? Они сейчас в поле мудохаются, „землю роют“, мешки с картошкой таскают, с ног падают, а я лежу тут, прохлаждаюсь. Ох, нехорошо...»

Чтобы заглушить тревожные, стыдные мысли, я выходил в сатиновых трусах на крылечко, делал из «чакушечки» несколько глотков, закуривал (а в ту пору я курил).

И долго так сидел – в тишине и покое. Наслаждался шумом проливного дождя...

Да, пусть ты не в гавайских трусах, не в шезлонге, на берегу бассейна, а всего лишь на крылечке заброшенного пионерского лагеря, где-то «за Можаем», а все равно хорошо!

Нет, что ни говорите, а нужны человеку такие тихие, покойные дни! И особенно в дни ударного труда.

«Как обманчива природа!»

Нас, второкурсников, весь сентябрь «мариновали» на картошке в Бородино, но я пробыл там всего недели две, а потом взял и сбежал с совхозного поля. Парень я деревенский, к труду приучен с малолетства, кажется, с шестого класса нас, школьников, гоняли на картофельные поля, и я не работы испугался, нет. Согнала меня с поля... любовь.

Жили мы в корпусах пионерского лагеря с такими тонкими фанерными стенками, что порой, когда мы просыпались на рассвете, наши одеяла хрустели, на них лежал плотный слой инея. Некоторые из моих однокурсников вскакивали с кроватей и тотчас начинали прыгать, скакать, хлопать в ладоши, чтобы согреться. Все, к чему приходилось прикасаться, – лопата, ведро, ботва – было ледяное и обжигало пальцы. Все вокруг было присыпано морозной пылью. Иней таял только к полудню.

Признаюсь: на первом курсе я влюбился в свою однокурсницу Нелли Кускову, и стоило мне лишь подумать о ней, как кровь вмиг согревала все мои остывшие за ночь члены. Поэтому я по утрам не прыгал, не скакал – душу мою согревала мысль о любимой.

* * *

На краю поля мы, как всегда, распределились по бороздам. Распределились сами, без всякой указки инспектора нашего курса Виталия Тищенко. Не знаю, как так случилось, но моей напарницей стала Нелли – девушка, в которую я был тайно влюблен и на которой мечтал жениться.

Меня охватила пьянящая радость по поводу того, что судьба подарила такой роскошный подарок – я оказался рядом с любимой девушкой. На целый день!

Я не раз представлял, как встану перед Нелли на колени посреди картофельной борозды и предложу ей руку и сердце, а потом вскочу на ноги, обхвачу ее голову и прикинну к ее губам долгим страстным поцелуем. А после мы пойдем к краю поля, раскинем плат на опушке леса и к вечеру в обнимку вернемся в пионерский лагерь женихом и невестой.

Так мне мечталось. Я тот еще был фантазер!

Но объяснения не случилось, ибо был я робок, скромн и прямо-таки до тошноты не уверен в себе.

Да, были на нашем курсе парни веселые, громогласные, бесцеремонные, они неустанно сыпали анекдотами и смешными историями – увы, я был не из этой породы весельчаков и хохмачей. Я совершенно не умел кадрить девушек, не было у меня такого таланта. Я был очень прост и безыскусен.

И когда мы остались с Нелли вдвоем, только тут до меня и дошло: девушку надо же будет развлекать. Но чем и как я буду ее развлекать?! Эту милую хорошую девушку из интеллигентной семьи?

Работая до универа пастухом, я услаждал свой слух и слух своих друзей-приятелей звуком свирели. Но где я сейчас возьму свирель?

Девушку развлекать надо будет разговорами, но вся беда была в том, что я был напрочь лишен дара речи. Я разговаривал на русском с немислимим акцентом, безбожно перевирая ударения... Ведь я нормально по-русски заговорил только в стенах университета.

Особенно плохо говорил, когда волновался. В такие минуты я просто физически чувствовал, как костенеет язык во рту. А любой парень сильнее всего волнуется, когда стоит рядом с любимой девушкой.

Мысли мои путались, слова путались, все путалось...

Я одичало заозирался по сторонам: нет ли кого из друзей-приятелей поблизости, на соседних бороздах, кто мог хотя бы временно прийти мне на выручку? Никого, мы одни. И предстояло как-то самому выкручиваться.

Как я уже сказал, я не умел изображать из себя эдакого веселого бодрячка, записного трепача, с утра до вечера сыплющего анекдотами. Мой мозг так устроен, что я совершенно их не запоминал и не умел их рассказывать. Я знал лишь один анекдот, содержащий тонкий английский юмор: «Как обманчива природа!» – подумал еж, сползая с кактуса.

Набравшись духу, запинаясь, э-э-экая и мэ-э-экая, я рассказал ей этот анекдот. Нелли едва улыбнулась. Кажется, этот анекдот стал самым весомым моим вкладом в тогдашний наш разговор. Потом я попытался рассказать ей какую-то историю из студенческой жизни и снова не возымел успеха. Мне ничего больше не приходило на ум. И вот вместо того, чтобы поведать Нелли о сокровенном, о своей любви, я смущенно молчал. Или же ронял какие-то отдельные понурые слова.

* * *

Будучи школьником, я верил, что встречу в Москве ослепительную любовь. Я мечтал о красивой девушке, которая будет безумно любить меня. И так же безумно буду любить ее я. И вот она рядом, эта красивая, умная, интеллигентная девушка. И вот она, любовь моя, стоит предо мной, в черном трико, облегающем ее стройные ножки и аккуратненькую попку. Стоит в очень притягательной позе. А я ничего не могу предпринять. Сажу и выбираю из борозды картошку. И глупо, как истукан, молчу.

Я смотрел на Нелли, на ее лицо, на ее стройную фигурку, аппетитные бедра, обтянутые черным трико, и не мог наглядеться. Сознаюсь, что мне без разницы было, на что смотреть – на ее попку или же на лицо. Я любил ее всю, каждую клеточку стройного молодого тела. Я любил ее и просто изнывал от сексуального желания.

Да, что уж греха таить, смущали меня в этот момент и нечистые мысли, очень сильно смущали.

Она была не только сама очень притягательна, так у нее и голос был очень сексуальный. Только бы слушал ее и слушал, но она все больше молчала. Она была не очень неразговорчивой, я бы даже сказал, замкнутой она была. И она молчала, сидя на ведре с поникшей головой.

Грустен, уныл и хмур, как и этот сентябрьский день, был и я.

Та еще парочка была на борозде!

Молчание начинало нас сильно тяготить.

Мне удавалось перевести дух, когда я с полными ведрами шел к бортовой машине, нарочно выбирая самую дальнюю из них. Как же я завидовал тем ребятам, что работали грузчиками на машине! Им не надо было развлекать девушку.

Это был какой-то кошмар – целый день работать на одной борозде с девушкой, в которую ты влюблен, но с которой ты не можешь найти общего языка. Я думал, что с этой девушкой мог бы провести и свои студенческие годы, и весь остаток своей долгой жизни, но оказалось, что и полдня с ней провести неслыханно тяжело.

Мы провели с ней вместе целый день почти в полном безмолвии, не разговаривая даже о пустяках, не прилагая ни малейших усилий, чтобы хоть как-то поддержать разговор. И к вечеру я так морально устал, был в таком физическом и душевном изнеможении, что ясно понимал – второго такого дня я не выдержу, если вдруг я снова окажусь с Нелли на одной борозде. Я просто сойду с ума.

Вечером на краю поля мы не то что без особых сожалений, а с великим облегчением разошлись – каждый в свою сторону.

* * *

На следующее утро я проснулся спозаранку и, заспанный, еще до завтрака устремился на прием к врачу. На него одного была вся моя надежда. Я вошел в кабинет врача – головенка вниз, голос тишайший, чтобы с порога было видно, что на прием пришел совершенно больной, измученный бессонницей человек.

Голосом умирающего я пожаловался молодому врачу, что чувствую себя очень скверно, что вот уже несколько дней мою поясницу ломит так, что я всю ночь не сомкнул глаз.

Я лег на кушетку, врач внимательно, скрупулезно ощупал меня, и при каждом его прикосновении и легком нажиме я тихо взывал и кривил лицо, словно испытывал невыносимую боль. Я думал, что мой номер не пройдет, что медик выпишет мне какие-нибудь обезболивающие таблетки и, грубо говоря, даст пинка под зад, а он взял и выписал мне справку об освобождении от работ. И в тот же день я уехал из лагеря в Москву.

А скоро моя любовь к Нелли увяла, как вянут травы по осени под холодными дождями и туманами...

* * *

Прочитав эту бесталанную заметку, читатели воскликнут с нескрываемым разочарованием: «И никакого секса, никакого романтического приключения, от которого вспыхнул бы всеми цветами радуги этот серенький сентябрьский денек?!»

Да, на сей раз – никакого секса, одна глупая студенческая любовь...

Хочу женщину!

Смотрел недавно «Амаркорд» Феллини. Этот гениальный фильм, «навевающий горькие и сладкие воспоминания», а именно так переводится его название, я могу пересматривать бесконечное количество раз. В картине есть смешной эпизод, когда сумасшедший дядька влезает на высокое дерево и оттуда, с верхотуры, возбужденным от страсти голосом орет на всю округу:

– Хочу женщину! Хочу женщину!

Этот веселый эпизод навеял мне собственные «горькие» воспоминания о былом, а точнее, об одном эпизоде из студенческого периода моей жизни.

...В сентябре 1982 года мы, студенты-второкурсники, всем курсом поехали «на картошку» в Можайский район, под Бородино, в легендарные места, где в 1812 году развернулось историческое сражение с французами. И никто тогда не знал, что мы станем свидетелями совершенно иного сражения, очень буйного и истерического...

Был солнечный день, студенты с ведрами распределились по полю, по два человека на борозду. И вдруг с криком: «Хочу женщину!» – один из наших однокурсников – назову его Иван – бросился на девушку, с которой он собирал картошку на одной борозде. Навалился на нее и стал срывать ее одежду – белый свитер и черное трико. Все так и обомлели от столь неслыханной дерзости. Чтобы вот так, среди бела дня, при всем честном народе, а было нас тогда на поле не менее 200 человек, навалиться на девушку, беззастенчиво сорвать одежды и попытаться ее изнасиловать, надо быть только сумасшедшим. Поверьте, всякий нормальный человек от такой сюрреалистической картины войдет в ступор...

Татьяна – так звали девушку – кричала, звала на помощь, из последних сил отбиваясь от совершенно взбесившегося Ивана. Силы ее совершенно иссякли, когда наконец один из парней, ближе всех стоявших к ним, вышел из оцепенения, подбежал и со всего размаху ударил Ивана ногой под ребра. С трудом оторвал его от девушки, поднял на ноги и начал бить – сильно, методично, безжалостно. Скоро к битью подключились и другие ребята...

А Ваня отбивался и орал во все горло:

– Хочу женщину!.. Женщину хочу!

Ивана сильно избили, не сразу сообразив, что он сошел с ума. Девичья попа, туго обтянутая черным трико и то и дело мелькавшая перед его девственными глазами, свела бедного парня с ума. И Ивана тут же, прямо с поля, отвезли в Москву, в больницу имени Кащенко. С той поры мы больше его не видели. Никогда!

Кстати, больницу им. Кащенко мы, студенты, называли шестнадцатым факультетом МГУ, ибо многие из студентов побывали за время учебы в стенах этого мрачного заведения.

Интернациональная комната

На третьем курсе я жил в общежитии университета на улице Шверника, в ДАСе, на пятом этаже, в комнате № 506. Комната наша была интернациональной: в ней обитали вьетнамец Бинь, монгол Бямба, эфиоп Хайлу, запорожец Владимир Сидоров и я – мордвин Гена Люлькин. Но никаких нездоровых межрасовых и межнациональных отношений, слава богу, у нас не было. Мы прекрасно находили общий язык с представителями народов «азиатского и африканского континента», как однажды выразился «краснобай» Брежнев.

Но вот чудовищные запахи здорово портили нам жизнь...

Бинь

Хрупкий вьетнамец Бинь был очень неприхотлив и незатейлив в еде. На завтрак, обед и ужин он готовил рис, мойву или какую-то другую мелкую вонючую рыбешку. И так – каждый день!

В отместку за отвратные запахи, царившие в нашей комнате по его прихоти, я его так и прозвал: Хунвейбинь.

В часы досуга я учил Биня матерным словам. При этом всем известное народное словосочетание я переиначивал на «биня мать!».

Скоро молодой вьетнамец очень хорошо наловчился произносить эту незатейливую фразу.

– Биня мать! – орал Бинь, входя в комнату и чувствуя жуткие запахи, исходившие из угла комнаты, где находилась кровать Володи Сидорова. Оказывается, он тоже был очень чувствителен к запахам.

Сидоров

Да, другим источником несусветного запаха был Володя Сидоров. Володя был легендой нашего курса. Что ни день, то Сидоров, Сидоров, Сидоров, везде слышалась его фамилия – и в общежитии, и в здании факультета. Он был своеобразной личностью, которая выделялась даже на ярком фоне нашей студенческой братии. Я знал про Володю, что он написал книгу «Сто дней до приказа» и отправил рукопись в несколько издательств. Никто из нас рукопись, признаться, не читал, но говорили, что написана повесть блестяще. Речь в книге шла о его службе в советской армии, где его сильно избили и покалечили, сломали ногу. Нога плохо срослась, постоянно гноилась, вот он и мучился.

Сидоров часто сидел на кровати, выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибавшуюся ногу. От искалеченной ноги, давно не стиранных носков невыносимо воняло...

Мы просили Володю помыть ноги, постирать носки и длинный капроновый чулок, который он носил на больной ноге, но он оставался глух к нашим мольбам.

Уже тогда, на третьем курсе, Володя самоизолировался, ушел в себя, в собственный иллюзорный мир. Он весь день спал или дремал, беспощадно прогуливая занятия в университете. Часами тупо лежал на кровати в темноте, бездумно уставившись в потолок, с таким неумным выражением лица, что мне страшно становилось за его судьбу. Я пытался вывести его из этого состояния отупения, тормозил его, задавал вопросы, но он оставался недвижим и нем и на вопросы не отвечал или же отвечал невпопад.

Увы, мы не понимали, что он был нездоров и у него началась тяжелая душевная болезнь. А вообще, это был забавный человечик, очень добродушный и незлобивый. Сидоров часто шутил, и все его шутки вызывали улыбку, а то и взрыв смеха.

Вспоминаю фантастический эпизод из студенческой жизни, когда на 9 мая, облачившись в солдатскую гимнастерку, с картонным орденом Красной Звезды на груди и с картонными погонами, он вручал всем однокурсникам, служившим в армии, ордена Красной Звезды, вырезанные из картона. Церемония награждения состоялась в Коммунистической аудитории под бурные аплодисменты всего курса.

Видели бы вы, с каким серьезным лицом Володя вручал ордена нашим однокурсникам Виктору Гуркину, Павлу Разину, Григорию Мальцеву и многим-многим другим! Ни один мускул не дрогнул на его лице за весь процесс торжественной церемонии. Видимо, уже тогда у него случилось шизофреническое расстройство и он чувствовал себя значительной личностью, великим полководцем, Наполеоном или Жуковым.

Но тогда, в тот торжественный момент, нам и в голову не могло прийти, что уже совсем скоро Володя загремит в психбольницу имени Кащенко. И тем самым эта веселая церемония будет иметь трагический конец.

Бямба

Бямба – малорослый, смуглый, узкоглазый монгол – первым делом установил в нашей комнате шатер наподобие юрты, создал обстановку, располагающую к интимности.

– Бямба, это что еще за кочующий стан? Ты еще костер разведи! – сказал я с неудовольствием, а неудовольствие мое было вызвано тем, что своим шатром он отхватил чуть ли не полкомнаты.

Бямба что-то грубо ответил мне.

Я был настроен миролюбиво и в ответ прочитал строки из «Пугачева» Есенина:

– Знаем, знаем мы твой монгольский народ,
Нам ли храбрость его неизвестна?

Бямба промолчал.

– Ты из Монголии, а я из Мордовии, – сказал я. – Ты узкоглазый, и я узкоглазый, ты смуглый, и я смуглый. Общие у нас родовые корни. Мы с тобой не однокурсники, не-е-ет, мы с тобой соплеменники.

И я процитировал ему Есенина:

И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.
И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Бямба улыбнулся и наконец соизволил протянуть мне руку.

Так началось наше знакомство. С монголом Бямбой мы внешне похожи. У меня было то же монголоподобное лицо, те же узкие глаза, та же любовь к степным девушкам и то же стремление к одиночеству и самоизоляции.

Чтобы заглушить тошнотворный запах, царивший в комнате, он возжигал душистые палочки, непрерывно смолил всякого рода курения и благоухания. Одним словом, спасался.

Хайлу

И только интеллигентный эфиоп Хайлу, высокий, стройный, курчавый, губастый, не терял присутствия духа в тяжелой атмосфере нашей комнаты. Карие, чуть навывкате глаза его всегда искрились и улыбались.

Мамо, а я всегда называл его Мама, часто выручал меня, давал деньги в долг. У Хайлу была стипендия в 90 рублей, и деньги у него водились.

Однажды я сказал ему:

– Аристотель утверждал, что у вас, в Эфиопии, на высокие государственные должности выбирали граждан по росту и красоте. Ты по всем статьям подходишь для большой должности, но, к сожаленью, сейчас у вас идет гражданская война, и вряд ли ты вернешься на родину. Но где бы ты ни жил, благословляю тебя дослужиться до высокого чина. Ты парень серьезный и достоин высокой должности не только по росту и красоте, но и по уму.

Услышав столь похвальные слова, Хайлу расщедрился и выдал мне аж целый червонец.

По утрам нас будил скрежет и звон трамваев, а по вечерам мы засыпали под громкий треск – это Хайлу искал в черном пластмассовом приемнике, стоявшем на подоконнике, западные радиостанции. Долго блуждал по светящейся шкале, долго шевелил усиком антенны в поисках хорошего приема, долго тишину комнаты сотрясали обрывки голосов, но, чаще всего он останавливался на радио «Свобода» или «Голос Америки»⁶. Через открытое окно шла струя свежего воздуха, через включенный радиоприемник – струя свежей информации...

Помню, на тумбочке у Хайлу лежала книжка «Правила хорошего тона», он уже тогда готовился к дипломатической работе и впоследствии стал представителем ООН в одной из стран, а Сидоров лежал на соседней кровати и с упоением ковырялся в носу. Да, у Володи была шокирующая привычка – при всем честном народе ковыряться в носу.

Так и запомнил: Хайлу – с курчавой головой, склоненной над приемником в поисках западных «голосов»; Сидоров – лежащий на кровати и лениво ковыряющийся в носу; Бинь – у кухонного стола, держащий за хвост селедку над чугунной сковородкой; Бямба – обходящий комнату, все ее углы, с ароматической свечой, пытаюсь изгнать чудовищные запахи; и я – лежащий на кровати и бесстрастно наблюдающий за всем происходящим.

...А в это время в университете мы изучали Камю, теоретика экзистенциализма.

⁶ Радиостанции «Свобода» и «Голос Америки» признаны иностранными агентами в Российской Федерации.

«Сто дней до приказа»

Поразительно, что мой однокурсник Володя Сидоров написал свою повесть «Сто дней до приказа» в 1980 году, в том же году, что и Юрий Поляков. Володя разослал рукопись по редакциям толстых литературных журналов, в ответ – ни слуху ни духу.

А через два года, в 1983 году, была опубликована повесть «Сто дней до приказа» Юрия Полякова.

Вряд ли кто у кого стибрил название. Такое совпадение лишь доказывает, что литература растет из одного корня.

Кстати, повесть Виктора Пронина «Женщина по средам» была издана в 1995 году. По этой книге Станислав Говорухин снял свою драму «Ворошиловский стрелок». В том же году в журнале «Простор» была опубликована повесть «Одиноким охотником» моего однокурсника и близкого приятеля Валерия Толмачева, имевшая примерно тот же сюжет.

– Великие идеи витают в воздухе, – так Валера объяснил такое совпадение.

И еще: на третьем курсе я подарил Володе Сидорову на двадцатитрехлетие книгу Мопассана «Милый друг» с надписью: «Милый друг! Желая стать первоклассным журналистом, сделать блестящую карьеру, но без тех подлостей, которые использовал отставной красавчик-унтер Жорж Дюруа!»

Это был мистический подарок. Володя, как и Мопассан, кончил сумасшествием, угодил в больницу имени Кашенко.

Из психиатрической больницы на факультет он уже не вернулся, уехал в Запорожье, в родной Днепропетровск.

Через десять лет этот маленький мистический случай имел продолжение. Моя однокурсница Алена Карагодина случайно увидела на одной из улиц Днепропетровска Володю, торговавшего книгами, разложенными прямо на земле. Они узнали друг друга, хотя вид у Володи был жалкий, очень жалкий. Чтобы хоть как-то поддержать бедного, несчастного Володю, Алена купила у него книгу «Милый друг». Дома раскрыла ее и на форзаце книги увидела мою дарственную надпись.

«Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думаю, мне, главная задача мемуариста», – писал Владимир Набоков.

«До свидания, Москва, до свидания»

В 1980 году я завалил экзамены на факультет журналистики МГУ. Уезжал из Москвы под прощальную песню Олимпиады-80 «До свидания, Москва».

Помню, как с грустью напевал в плацкартном вагоне пассажирского поезда Москва – Ташкент, отходившего от перрона Казанского вокзала:

Не грусти, улыбнись на прощанье,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай...

По щекам моим текли слезы...

– Что, наши не пляшут? – спросила меня мама, когда я переступил порог родного дома.

– Не пляшут, – буркнул я.

– Не падай духом, сынок, мы еще попляшем!

На следующий год я снова поехал в Москву.

Помню, перед вступительными экзаменами мне приснилось, что я стою где-то в городе Москве, а где – точно не знаю, ибо все вокруг утопает в крошечной тьме. И я не знаю, куда идти. И вдруг звезды на башнях Кремля засверкали ярчайшим светом. Светло стало как днем, и я увидел, что стою в центре Манежной площади.

Вижу: бронзовый Ломоносов привстал со своего постаменты из красного гранита и давай махать мне рукой, той самой рукой, в которой он держал бумажный свиток.

Сам Михайло Васильевич звал меня, и я рысцой побежал в сторону факультета...

Увидев этот сон, я уже не сомневался, что стану студентом журфака.

После того как я прочитал свою фамилию в списке абитуриентов, принятых на первый курс, я в тот же день отправился на экскурсию в Кремль. Я знал, что этот июльский, очень солнечный и жаркий день запомнится мне на всю жизнь, и мне захотелось заполнить его чем-то величественным.

А что может быть величественнее, чем Кремль?

Радость переполняла меня, когда я вернулся в родное село.

– Ну что, мама, спляшем?

– Поступил, что ль?

– А как же! – с гордостью ответил я. – Ты же сама называла меня «бурляевская порода».

По отцовской линии я был из рода Бурляевых; в устах матери это выражение означало: «упрямый осел».

Презервативы

В первый раз я поступал на факультет в 1980 году, но провалил экзамены. Жил я в одной комнате с Владимиром Кругловым (ныне – доктор экономических наук), Иваном Салтыком (ныне – доктор экономических наук) и Володей Чесноковым (увы, уже покойным). Все было бы замечательно, если бы не одно но.

Вся наша комната была в разноцветных презервативах. Презервативы были развешаны на стенах и по всем углам, презервативы были разбросаны по всей комнате, их было десятка два, не меньше.

Надувать гондоны и развешивать их по комнате было любимым занятием Чеснокова. Так он снимал стресс после сдачи экзаменов.

И с виду – высокий, худощавый, легкий, утонченный, с тонкими светлыми усиками, – и по натуре своей Володя был очень приличный чел, а вот, поди же ты, и у него была милейшая слабость – надувать гондоны.

Володя знал уйму анекдотов, в том числе и о презервативах, и умел их рассказывать. Вот самый безобидный из них:

Летят над городом два презерватива.

– Нас не так используют!

– Ты прав! Нас надули!

Я благодарен Володе, ведь именно он, а точнее, его надувные презики здорово укрепили меня в моем решении в следующем году снова поступать на журфак.

В самом деле, если семнадцатилетний юноша, в минуты отдохновения надувающий гондоны, смог поступить в МГУ, то почему не могу сделать это я, человек, использовавший их по назначению? Правда, я не учел, что Володя был сыном главного редактора областной партийной газеты, а не «сыном простого народа», как я.

Поцелуи палочки

Профессор Елизавета Петровна Кучборская на одной из лекций о европейской литературе XIX века рассказала о зальцбургской ветке, упоминаемой Стендалем в трактате «О любви».

– Стендаль припомнил обычай, который существовал в Австрии. Зальцбург: соляные копи, заброшенные, отработанные соляные копи. Жители Зальцбурга осенью, собирая с деревьев, уже потерявших листву, бедные голые ветки, бросали этот букет из голых ветвей в глубины заброшенных шахт и забывали... Весною извлекали наружу этот букет за веревку, привязанную к нему. И это в самом деле букет! – воскликнула Елизавета Петровна. – «Подземная работа полна страстей», – говорил сам Стендаль, любясь этим букетом. Подземная... Где-то в глубинах души, в глубинах памяти, невидимо человеческому глазу, живут – неслышно – воспоминания, впечатления, неоформившиеся чувства, а затем, представьте, извлекается вот этот букет. Эту теорию зальцбургской ветки Стендаль положил в основу своей теории кристаллизации...

Через несколько дней после лекции Кучборской я стал свидетелем такой сцены. В Дом аспиранта и стажера, или ДАС, как называли общежитие сами студенты, забежала в гости наша однокурсница, очень красивая девушка, москвичка, в которую был тайно влюблен мой приятель Сергей Зелин. Звали ее... Впрочем, нет, имени этой девушки я называть не буду, пусть это останется тайной.

«Забежала» – это громко сказано, потому что девушка сильно прихрамывала и пришла с толстой палочкой. Сломав ногу, она больше месяца пролежала в гипсе, но как только гипс сняли, тут же приехала в общежитие – так соскучилась по своим подругам и друзьям за долгое время болезни.

Девушка посидела у нас чуток, мы побалакали о том о сем, посмеялись-повеселились, а потом она ушла в соседнюю комнату – навестить подруг. И тут с диким возгласом: «Где она?! Где моя любовь и отрада?!» – в нашу комнату вбежал Сергей.

– Ушла к подружкам, вон ее палочка в углу стоит, – ответили мы, чуть опешив от столь эмоционального порыва и натиска нашего приятеля.

Сергей стремительно бросился в угол, схватил палочку, выбежал на середину комнаты, упал на колени и взахлеб стал целовать эту палочку – с одного конца и до другого. И снова расцеловал... И снова... И так несколько раз он прошелся жадным, чувственным ртом по гладкой, но довольно-таки грязноватой палке.

И после каждого поцелуя Сергей восторженно восклицал: «ОНА! ОНА! ОНА! Залюблю! Зацелую! Допьяна! До изнеможения!»

Поверите ли, но такого сияющего блеска в глазах, такого благоговения и счастья мало у кого я видел!

Вот он, пример идеализации!

Я точно знаю, что Сергею с таким же восторгом и упоением целовать самую молодую хозяйку той палочки так и не удалось, любовь его так и осталась безответной. Но какое это имеет значение? Разве влюбленный студент не был счастлив, восторженно целуя деревянную палочку? Разве он не наслаждался в эту минуту мечтой о возлюбленной?

Об ангельском чувстве

В моих студенческих конспектах по немецкому языку сохранилась короткая запись: «17 декабря. Я наедине с Т.В.Ю.!»

Эта пометка требует расшифровки...

«Ох, кудамо мазыне тейтересь!»⁷ – воскликнул я про себя, когда в первый раз увидел преподавательницу немецкого языка Татьяну Владимировну Юдину.

На первом курсе факультета журналистики МГУ у меня было билингвальное мышление: я думал на мордовском, а выражал мысль на русском.

Татьяна Владимировна была прекрасна, как древнегреческая скульптура, по крайней мере, в это же самое время мы изучали «Илиаду» Гомера, и когда профессор Елизавета Петровна Кучборская на лекциях по древнегреческой литературе рассказывала нам про Елену Прекрасную, из-за которой началась Троянская война, я всегда представлял Татьяну Владимировну.

Увидев ее в первый раз, я понял, что в моей судьбе произошло что-то великое: я влюбился! И с того дня я начал тайную жизнь одинокого охотника. По утрам я, словно часовой любви, усаживался на деревянную скамейку в скверике у памятника М.В. Ломоносову, делая вид, будто в тени раскидистых деревьев читаю книгу, и ждал, когда в здание университета мимо пройдет немыслимо прекрасная женщина. Иногда мои ожидания оправдывались, я видел, как она шла, горделиво и легко, с высоко поднятой головой. Я был счастлив: пусть и издали, но мне было довольно видеть ее – легкую, элегантную, такую непохожую на всех остальных людей.

Меня ничуть не смущало, что моя возлюбленная была на десять лет старше меня.

Почти целый год, весь первый курс, был заполнен этой любовью. Жизнь моя состояла только из одного: думать о ней, мечтать о ней, видеть ее. Наедине сам с собой я читал ей стихи, которые успел выучить наизусть во время долгих ожиданий на скамейке у памятника Ломоносову.

Однажды ночью я бродил вокруг ее дома, поверяя звездам любовные стихи, и плакал от восторга до самого рассвета. В доме на всех его этажах горели огни, я не знал, на каком этаже она живет, мой взгляд блуждал от окна к окну, от балкона к балкону в надежде увидеть если не ее, то хотя бы ее тень. А в десять утра я сидел перед ней в аудитории, на уроке немецкого языка, одуревший от бессонной ночи, и ломал голову, каким же образом передать ей любовную записку: «Я вас люблю!»

Эту записку я так и не передал ей – не хватило духу.

Я хотел одного – наслаждаться своими сердечными муками – и все откладывал и откладывал сладость признания. Бывало, ночи напролет я писал ей письма, полные любовных излиятий, а потом рвал в клочья и рассеивал их с высоты нашего многоэтажного общежития в надежде, что ветер каким-то магическим образом донесет до моей возлюбленной суть моих писем.

Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться. Исповедовался во всем своему другу, Виктору, и я. Но друг вместо того, чтобы поддержать меня, подтолкнуть меня на признание в любви, взял и жестоко высмеял весь мой любовный пыл. «Ну сам посуди: кто она и кто ты? – с издевательским хохотом спрашивал он. – Ты мужик деревенский! И кто она?! Коренная москвичка! Интеллигентка до мозга костей! На работу приезжает на „Волге“, обедает в ресторане „Националь“. Мой тебе совет: забудь ее и не парься! Эта женщина – птица не твоего полета!»

⁷ Ох, какая красивая девушка! (Мордов.)

Я мечтал пригласить Татьяну Владимировну в Большой театр и в течение года несколько раз доставал билеты – а в 80-е годы прошлого века достать билеты в Большой было ой как нелегко, – но в самый последний момент пасовал перед ней, и в театр мне приходилось идти со своим другом. Так, благодаря мне Виктор приобщался к высокому искусству, посмотрел оперы «Иван Сусанин», «Тоска», «Борис Годунов», балеты «Лебединое озеро» и «Спартак»...

...В лингафонном кабинете на третьем этаже шло занятие по немецкому языку. В аудитории только двое – я и Татьяна Владимировна. Из всей нашей 109-й группы на занятии почему-то я был один.

Я оказался наедине с любимой женщиной, с Татьяной Владимировной, «милой Татьяной», как я называл ее про себя.

Татьяна Владимировна сидела за столом и что-то писала, а я, юный, скромный, застенчивый, тихо сидел за соседним столом и влюбленно смотрел на нее.

В черном платье, с белым газовым шарфиком на шее она была сногшибательно хороша.

Мы тихо сидели в кабинете, и вдруг я произнес:

– Мон тонтъ вечктан!

Я произнес эту фразу на родном, мордовском языке. («Я тебя люблю!» – в мордовском языке нет обращения на «вы».)

Черт дернул меня за язык!

– Геннадий, что вы сказали? – улыбнулась Татьяна Владимировна. – Переведите, пожалуйста.

– У меня язык не повернется перевести, но, поверьте, это одна из лучших фраз, придуманных мордовским народом. А я по национальности мордвин.

– Как интересно! – сказала она. – А как эта фраза звучит на немецком языке?

– Ich... Ich liebe Sie!

Потом я думал: почему я, деревенский мордовский паренек, оказался именно «здесь и сейчас», в центре Москвы, у стен Кремля, в университете, на третьем этаже, в лингафонном кабинете, наедине с самой красивой женщиной на свете? Кто подарил мне эти счастливейшие полтора часа?

Недавно я посмотрел в интернете, какой это был день недели – 17 декабря 1981 года.

Оказалось, четверг, именины Геннадия.

Так вот оно что! Полтора часа с любимой женщиной – это был подарок моего ангела-хранителя на мои именины!

Это была самая счастливая пара за все мои университетские годы.

Признаюсь, в моей жизни было много девушек, но вот такой любви, чистой и безгрешной, какую я испытывал на первом курсе к своей преподавательнице Татьяне Владимировне Юдиной, у меня уже не будет больше никогда.

Такое ангельское чувство, увы, не повторяется.

Блестящая партия!

Александр Ставриецкий – большой мастер шахматной игры, «гроссмейстер», как мы называли его промеж себя. Саша с головой погрузился в тему шахмат и шахматных задач, выписывал профессиональные журналы.

Как ни зайдешь в комнату № 607, Саша полулежит поперек кровати, задрал ноги на спинку стула, а на стуле – шахматная доска с расставленными фигурами. Сбоку на столике лежит изрядно потрепанная кипа шахматных журналов: «Шахматы в СССР», «Теория и практика шахматной композиции» и др.

Он подолгу, порой до глубокой ночи сидел перед шахматной доской, мучительно долго обдумывая трудные комбинации. Искал ключ к разгадке...

А однажды Ставриецкий организовал в ДАСе шахматный турнир, в котором приняли участие Александр Поминов – будущий вице-губернатор Алтайского края, Владимир Круглов – будущий доктор экономических наук, Иван Салтык – будущий доктор экономических наук, Виктор Гуркин – будущий коммерческий директор областной газеты, Вася Бабенко – будущий ответственный секретарь областной газеты «Курская правда», многие другие.

И мало кто из нас знал, что параллельно с шахматной игрой Саша вел куда более увлекательную игру – любовную. Каждый свой ход Саша держал в тайне от нас, своих друзей и приятелей, действуя очень осторожно и осмотрительно.

Избранницей молодого человека стала моя однокурсница и землячка Галя Юдахина. Никаких хитрых, коварных ходов для защиты Галина не предпринимала, и Саша быстро нашел ключ к ее сердцу. Как показало время, женитьба Саши на Гале была его лучшей партией. Блестящей партией!

Ссыкун

Конфуз из «Бриллиантовой руки», связанный с тем, что на подиуме брюки Геши Козодоева никак не желали превращаться в элегантные шорты из-за того, что заело застежку-молнию, всегда вызывает смех у зрителей. Когда же я вижу эту сцену, то вспоминаю эпизод из своей студенческой жизни и чуть не плачу. Я даже не знаю, рассказывать вам это или не рассказывать. На днях спросил своего друга Рамиля, участника той давней истории, а он и говорит: «Ты что, с ума сошел? Не позорься! Тебя же засмеют!»

Махнув рукой на предостережение своего приятеля, я все же наберусь смелости и поведаю вам о самом позорном моменте своей студенческой жизни, который прекрасно показывает, с каким трудом я, деревенский мордовский паренек, вживался в городскую среду.

Кстати, с гламурным пижоном Геннадием Петровичем Козодоевым у меня много общего. В студенческие годы меня тоже звали Гешей.

В сценарии у Геши кликуха Граф, в пору студенчества и я носил такое прозвище.

Геша работает модельером, на третьем курсе и мне предлагали выйти на подиум.

Геша теряется в сложных ситуациях, бывало, терялся и я...

Эта история случилась в мой день рождения, 6 июня 1982 года, когда я заканчивал первый курс факультета журналистики МГУ.

Теплым воскресным вечером мы с другом, татаринном Рамилем, отправились в бар с варварским названием «Викинг», располагавшийся неподалеку от студенческого общежития, чтобы пропустить по маленькой в честь моего дня рождения и, если повезет, охомутать каких-нибудь девчонок.

Это был мой первый выход в столичный бар, и я немного нервничал...

Я был весь в белом – белая рубашка с короткими рукавами, светлые летние брюки, светлые туфли – и смотрелся франтом. Особенно хороши были совершенно новые, модные брюки, которые я купил в магазине польской моды «Ванда», отстояв многочасовую очередь. Идеально отглаженные, они превосходно сидели на мне, на моей тонкой талии. Такие брюки помогают почувствовать себя сильным, дают уверенность в жизни. Одна лишь загоголка – молнию чуть заедало, но я не обратил на это внимания, ничего страшного, со временем разработается...

В кармане брюк у меня на всякий случай была припасена пачка папирос «Герцеговина Флор». Эта пачка обошлась мне в восемьдесят копеек, недешево при стипендии в сорок рублей, но на какие только траты не пойдешь ради того, чтобы пустить дым в глаза девушкам. И продемонстрировать, какие у меня длинные, тонкие, «одухотворенные» пальцы, как красиво и благородно моя рука держит дорогую папиросу. Казалось бы, я родом из деревни и должен быть скромным, ибо мой психологический тип породил и сформировал сельский уклад жизни, а вот – поди же ты! – и я был понторез, как Геша Козодоев, и я любил выпендриться.

На Рамиле был синий джинсовый костюм, и он тоже выглядел женихом. Мой друг был старше меня на пять лет, но по натуре он был попроще, поскромнее.

В полутемном баре с низким потолком и обшитыми деревом стенами было шумно и многолюдно. Играла музыка. Мы выпили водочки и закусили, выпитое придавало нам смелости, и скоро мы уже сидели за одним столиком с двумя подружками – Ириной и Наташей.

Девушки оказались москвичками. Признаюсь, что их лица забылись напрочь, как-никак сорок лет прошло, запомнилось лишь, что Ирина была брюнеткой, а Наташа – блондинкой.

Я приехал из глухомани, из мордовского села, и не очень хорошо знал, как вести себя с девушками, и тем более с коренными москвичками. У меня и без того была нескладная речь, при разговоре я с трудом подбирал русские слова, экал и мэкал, а тут еще волнение примешалось – Ирина понравилась мне с первого взгляда.

Впрочем, робким и застенчивым я был до «первой рюмки»: стоило мне выпить – и я превращался в бойкого красноречивого. По крайней мере, спьяну мне так казалось...

Мой друг Рамиль, родом из татарского села, тоже тот еще был говорун, разговаривал по-русски запинаясь, с акцентом, ему легче было деревянный сруб связать, чем два слова, поэтому он все больше молчал, и отдуваться за двоих пришлось мне одному.

Своих мыслей у меня было в обрез, поэтому я начал свой разговор с девушками с цитаты: – «Хорошо быть молодым студентом, сидеть в людном месте, слушать веселую музыку, любоваться красивыми девушками», – сказал однажды Чехов. И я совершенно согласен с Антоном Павловичем.

Признаюсь, что фразу «любоваться красивыми девушками» у Чехова не было, ее я добавил от себя, чтобы польстить подружкам.

Девушкам было приятно, они заулыбались.

– А вы студенты? – спросила Ирина.

– Да, учимся на факультете журналистики МГУ. В лучшем университете страны! – ответил я с гордостью.

– Какие вы молодцы! – сказала Ирина. – А мы с Наташей учимся на поваров.

– Замечательная профессия! Всегда будете сыты в отличие от нас, бедных полуголодных студентов, – засмеялся я.

Я сообщил девушкам, что в «Викинг» мы пришли, чтобы отметить мой день рождения, на что они хором сказали:

– О, поздравляем! За это надо выпить!

Рамиль был скуп на слова, зато весьма щедр на угощение: он купил две бутылки шампанского.

Мне никогда не приходилось раскупоривать шампанское, бутылка была влажная, и она выскользнула из моих рук, упала на пол, но, слава богу, не разбилась.

– Дурная примета, случится какое-то необыкновенное происшествие! – воскликнула Ирина.

– Мы люди прогрессивные, учимся в университете и ни в какие приметы не верим. Да, Рамиль? – сказал я.

В ответ Рамиль лишь буркнул что-то нечленораздельное...

Чтобы он не сидел сиднем и хоть каким-то образом участвовал в застолье, я попросил его открыть вторую бутылку шампанского.

О чем мы говорили с девушками в тот вечер, я не помню, ведь прошло, повторяю, более сорока лет, но некоторые диалоги и фразы запомнились.

Возбужденный шампанским и присутствием двух красивых девушек, я вслух прочитал стихотворение Пушкина:

Без вас мне скучно, – я зеваю;
При вас мне грустно, – я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!

Я сказал, обращаясь к Ирине, что я родом из мордовского села, «овто угол» – так называли наши края, что по-мордовски звучит как «медвежий угол», плохо говорю по-русски и не могу выразить словами свои чувства. Вот и призвал на помощь Пушкина.

– Кстати, сегодня день рождения Александра Сергеевича, я родился с ним в один день, – сообщил я.

– А как твоя фамилия? Тоже Пушкин? – спросила Наташа, хихикнув.

– Люлькин, – ответил я.

– Люлькин-Пилюлькин... – снова хихикнула Наташа.

– Да, именно так часто рифмуют мою фамилию, когда слышат ее впервые. Такова уж горькая участь моей фамилии, и ничего с этим не поделаешь.

Скоро наш поэтический троп перешел в прозаический, пьяный треп.

– Закуривайте! – сказал я и протянул подружкам открытую пачку папирос «Герцеговина Флор».

Девушки отказались:

– Мы некурящие.

Я вынул папиросу, чтобы закурить, но Ирина остановила меня:

– От тебя так сладко пахнет! Не порть этот запах дымом папиросы!

В ответ на ее комплимент я сказал, что перед тем, как поступить в университет, нанимался летом пастухом, пас совхозное стадо. И от настырных комаров спасался дегтем, мазал руки и лицо, но от гнуса деготь почти не спасает.

– Теперь же, будучи студентом журфака, я брызгаюсь туалетной водой «БОГАРТ». Вот как круто можно изменить свою жизнь! – сказал я, опьяненный собой, и сунул папиросу обратно в пачку.

– Счастливый ты, в сорочке родился! – улыбнулась Ирина.

Потом мы еще выпили. Выпили, конечно же, и на брудершафт. И скоро мы с Ириной уже обнимались, тесно прижимаясь друг к другу. Я был тогда еще девственник, и каждое прикосновение к ее телу обжигало меня.

– Ты очень красивая! – сказал я и поцеловал ее в губы.

– погоди, мы с тобой еще нацелуемся ночью, – шепотом сказала она, проведя рукой по моей голове и взъерошив волосы.

Я сказал ей, что так делала только моя мама, вкладывая в этот жест материнскую любовь, теплоту и ласку.

– И ни одна девушка тебя не гладила по голове?

– Нет. Ты первая.

– Ты девственник?

Я кивнул.

– Значит, сегодня ночью я буду твоей первой девушкой. Как здорово! Дай я слизну с твоих губ золотую пенку.

– Какую еще пенку?

– Пенку девственника. Вкусную, румяную, очень аппетитную.

И будто действительно снимая пенку, она нежно провела язычком по моим губам.

– Ты всамделишно хочешь мне отдаться? – спросил я.

Я думал, что она сейчас высмеет меня за это «всамделишно», выплывшее из моего деревенского детства, скажет язвительно: «А еще студент журфака!» – но она воскликнула:

– Всамделишно! Ой, слово-то какое чудесное! Я никогда его не слышала!

И она начала повторять это слово на разные лады, долго смаковала его. А потом вдруг посерьезнела, внимательно взглянула на меня и, прильнув к моему уху, сказала:

– Да, всамделишно хочу тебе отдаться! Это будет мой подарок тебе на день рождения, красавец мой писанный!

Господи, неужели наконец-то свершится то, о чем я так долго мечтал, до чего доходил только в своих сексуальных фантазиях! Неужели я выплесну годами копившуюся во мне страсть!

Я возликовал. Голых женщин я видел только на глянцевых похабных игральных картах, которые с упоением разглядывал в отроческие годы.

Я был целомудренным, и, честно признаться, мое целомудрие начинало меня сильно томить.

«Свежачок» ли была Ирина, как называли девственниц в нашем селе, я не знал, но для меня это не имело никакого значения.

В тот вечер на радостях я один вылакал почти всю бутылку шампанского.

Перед уходом из бара мне надо было сходить в туалет, но об этом я как-то не позаботился. У меня не было опыта употребления шампанского, ведь в родном селе мы пили только дешевый портвейн и вонючий самогон.

Было уже темно на улице, когда в превосходном настроении, чуть пьяненькие, мы вышли из бара и отправились домой к Ирине. Ее родители были на даче, и она пригласила нас к себе в гости.

Идем пьяной компанией, радуемся жизни, веселимся...

Я иду, весь такой «хипповый», как выражалась молодежь нашего села, откуда я всего год назад приехал в Москву, иду счастливый, беззаботный, влюбленный. Поверьте: счастливым в белых штанах можно быть не только в Рио-де-Жанейро, но и в Москве, когда ты молод и идешь в обнимку с красивой девушкой, испытывая животную радость от предвкушения первого, а потому столь сладостного секса.

Рамиль с толстушкой Наташей, держась за руки, идут впереди, мы с Ириной в обнимку – следом за ними.

Я обнимал Ирину уже как свою невесту.

Обратив внимание на полный зад Наташи, я воскликнул пьяным голосом:

Помыта спереди и сзади девочка.
Готов пирог. Коврижки подрумянены.
Все приготовлено. За женихом черед!
Ой-ой! Не зад у ней, а праздничное шествие!

Это была цитата из комедии «Мир» Аристофана. Этого древнегреческого автора, «отца комедии», мы как раз изучали на первом курсе под руководством университетского профессора Кучборской.

– Как-как?.. Ой-ой! – хохочет Ирина. – Не зад у ней, а празд...

Ирина не договорила – мой неожиданный бросок в кусты оборвал ее на полуслове.

За шумом и треском ломающихся сучьев я услышал вослед:

– Геночка, куда ты? Что с тобой?

Я не откликнулся.

– Он что, чокнутый? – спросила Ирина.

– Нормальный он... По крайней мере, был, – ответил Рамиль.

Девушки приняли меня за полного придурка. И действительно, надо быть полным психом, чтобы неожиданно, не говоря ни слова, ринуться в кусты и исчезнуть.

Беда была в том, что мне нестерпимо захотелось писать, и что есть МОЧИ, извините за непреднамеренную игру слов, я перескакиваю через невысокий железный заборчик, кидаюсь в густую чащу, росшую по краю тротуара, по крутому склону скатываюсь в крапиву и чертополох.

Мне тогда казалось, что помочиться при девушках – нет страшнее позора.

Испуганный, скорченный, напряженный, я пытаюсь расстегнуть замок, лихорадочно дергаю язычок «молнии», но чувствую, что она не идет. Застряла намертво. Состояние легкой паники переходит в ужас. Я даже дышать перестал от страха. Рывком расстегиваю пояс, чтобы попытаться стянуть брюки, и в этот момент мой мочевой пузырь вышел из-под контроля. Чувствую, как по моим ногам потекло что-то теплое. Я не сразу понял, что во мне забил теплый фонтанчик. Честно-честно. Я не услышал привычного журчания струи – и это меня очень уди-

вило. И только когда в нос шибанул вонючий запах мочи, я с острейшим чувством стыда осознал, что обмочился.

Ох, напрудил так напрудил я в тот вечер. Как мерин! Штаны промокли насквозь, темные мокрые разводы хорошо были видны на светлой ткани. Моча обильно промочила даже мои носки и туфли.

Я был в полном смятении. Сознание прыгало с одного на другое. В голову лезли противоречащие друг другу мысли: «Выйти к девушкам... не хватало еще, чтобы ко всему прочему они облили меня презрением... бежать в магазин, купить новые брюки... какой магазин может быть в полночь... затаиться...»

И девушки, и Рамиль еще долго выкликали мое имя, но я так и не откликнулся, тихо сидел в кустах.

Я целый час прятался в густой чаще, не дай бог кто увидит меня обоссанного, жалкого, несчастного. Сидел и ждал темноты, ощупывая глазами пространство – не идет ли кто.

Ночь была тихая, теплая, лунная, в такие ночи хорошо думается.

Я думал: как же изменчива жизнь! Год назад я плакал от радости, что поступил в университет, благодарил свою судьбу за то, что мне так повезло, и вот – на тебе! – сижу в кустах, весь обоссанный, пропахший едким запахом мочи, и чуть не плачу от стыда и срама.

«Чувак, это и есть настоящая реальная жизнь. Ты думаешь, что пойдешь в гости девушке, словишь кайф, испытаешь оргазм, но на самом деле судьба преподносит нечто такое, что может присниться только в кошмарном сне», – сказал я себе.

Пьяненький, мурлыча себе под нос: «Красавец писанный сидит в кустах описанный», я достаю из кармана брюк помятую мокрую пачку папирос «Герцеговина Флор», швыряю в кусты...

Глубокой ночью я выкарабкался из чащи и рванул укромными улочками и переулками в ДАС, как называли наше общежитие на улице Шверника. Я бежал всю дорогу, пережидая за углом или деревьями редких прохожих. О том, чтобы доехать до общежития автобусом, и речи не могло быть – все пассажиры увидят меня обоссанного.

У входа в ДАС чуть отдышался и, собравшись с духом, вошел в дверь...

Я не стал вызывать лифт, а пулей проскочил на лестницу мимо двух пожилых вахтерш, о чем-то разговаривавших и не обративших на меня никакого внимания.

Слава богу, никого не встретил я ни на лестничных площадках, ни в темном коридоре. Время-то было уже позднее – первый час ночи...

Войдя в комнату, тут же заскочил в ванную, содрал с себя насквозь промокшие брюки, и только тут у меня отлегло от сердца.

Вот такой лажей (чуть было не сказал – лужей) закончился тот давний романтический ужин в честь моего дня рождения.

Когда на следующий день я рассказал Рамилю о своем ночном приключении, он расхохотался.

Посмеялся и я.

– Какую философию можно вылущить из этой идиотской истории? – спросил я.

– Ссыкун ты – вот и вся тут философия! – сказал Рамиль. – У нас в армии говорили: плюй в ружье, да не мочи дула. А ты взял и замочил...

Как я уже сказал, мой друг был родом из глухой татарской деревни, до университета он был простым крестьянином, это был «человек из народа», и его слова я воспринял как народную мудрость.

Это был мой первый визит в бар «Викинг». Потом я здесь бывал, и не раз, однажды моя вылазка закончилась жестоким «мочилово», но я уже больше не обмачивался. Такого унижения со стороны судьбы, к счастью, я больше не испытывал.

«Обольститель»

Я учился на первом курсе и был нецелованным, целомудренным юношей. И не потому, что к девушкам был равнодушен и холоден, а потому, что был очень робок и стеснителен, прямо-таки до тошноты робок. Я всегда потел и заикался, когда разговаривал с ними. По части девушек я был почти такой же увалень и ротозей, как мой однокурсник Володя Сидоров.

Но в отличие от грубо сколоченного, неотесанного, большеберотого, губастого Сидорова у меня была недурная наружность, крепкая фигура, на мне прекрасно сидел коричневый вельветовый костюм. Я был не Люлькин, не «люля-кебаб», как называл меня мой друг Виктор Гуркин, когда почему-либо злился на меня; я был сказочный непорочный Лель – высокий, стройный, длинноногий. Лик мой, лик божественного Леля, портили лишь очки, точнее, их грубая, массивная оправа...

С Мариной мы познакомились на дискотеке, в общежитии универа, в ДАСе. Я не мастер описывать девушек, а впрочем, что ее описывать? Девушка как девушка. Но в белой кофточке, черной короткой юбочке, черных колготках, облегающих ее стройные ножки, она была очень хороша.

В перерывах между танцами мы выходили в коридор и там пытались о чем-то разговаривать. О чем конкретно мы разговаривали, я уже не помню, кажется, она задавала мне вопросы о моих занятиях и увлечениях. Марина мне очень понравилась, я чувствовал перед ней невероятное стеснение, а потому на все ее вопросы отвечал кратко, неловко, невпопад. Я говорил банальности, часто ошибался, особенно в падежах, путал в речи мужской и женский род, пытался поправиться, но это только усиливало мою неловкость.

В другой раз, когда мы вышли из духоты танцевального зала в просторный холл и сели рядышком на кожаный диван, я попытался объяснить ей в любви, однако у меня, мордовского парня, был очень скудный словарный запас. И какой же я был олух! Вместо того чтобы просто сказать: «Я тебя люблю» или «Ты мне очень нравишься», я попытался выдать монолог подлиннее и позаковыристее. С трудом, с эканьем и мэканьем, выдал нечто такое, что она громко расхохоталась. Помню, в ответ я обиженно насупил и замолчал.

– Эх, говорун ты мой! – сказала она с улыбкой, нежно дотронувшись до моего лица, и, глядя мне глаза, добавила: – Свои чувства можно выразить словами, а можно и без слов, вот так... – И обняв меня за шею, она впиалась в мои губы крепким долгим поцелуем. Я чуть не задохнулся – таким горячим и страстным был ее поцелуй. От неожиданности у меня аж голова закружилась. – Я хочу, чтобы ты приехал ко мне в гости. Это мое желание, мой каприз – понимай как знаешь. Обещай, что приедешь!

В ответ на приглашение девушки мне хотелось вскочить на ноги и, склонив голову набок, с чопорной учтивостью отчеканить: «Почту за честь!» – так радостно и приятно у меня стало на душе, но мешала робость, и я только тихо промямлил: «Хорошо... Приеду...»

После дискотеки я проводил Марину до остановки трамвая, и она уехала в общежитие, располагавшееся в главном здании МГУ. Перед тем как сесть в трамвай, она так горячо поцеловала меня, так плотно прижалась ко мне всем своим упругим и таким желанным телом, что я еле удержался, чтобы не сесть вслед за ней в трамвай.

Вернувшись в свою комнату, я лег на кровать, обнял подушку, прижал к груди и долго думал-мечтал о своей новой знакомой.

Всю неделю я пребывал в полном смятении чувств и думал только о ней. Но если днем я еще как-то сдерживал себя, только целовал-миловал ее, то ночью, перед сном так растревлял свое воображение, что хоть святых выноси! Что я только не творил с ней, что только не творил!

Мне страсть как захотелось увидеть ее, и в субботу вечером я решил двинуть на Ленгоры, в главное здание МГУ.

Я ничего не могу делать тайком, втихаря, а потому сразу всем друзьям объявил, что еду на Ленгоры в гости к очень красивой и умной девушке.

Собирали меня на свидание всем миром. На мне была финская, из гагачьего пуха, бело-голубая курточка, элегантные финские коричневые сапожки. Черную, из мягкой кожи сумочку одолжил мне Костя Горлов, а ярко-красный шарф – Мишка Алов. Я был так красив и обольстителен, что девушка никоим образом не устоит предо мной и сразу же, без слов отдастся мне. Так, по крайней мере, мне думалось.

Я отправился к ней в гости с томительной и сладостной надеждой, что в эту ночь я узнаю, что такое счастье обладания девичьим телом. Каюсь, но именно тайная надежда на телесную близость и вела меня к девушке. Помню, я ехал в трамвае и лелеял беззастенчивые, дерзкие мысли. Я мысленно видел, как снимаю с нее одежды, стягиваю трусики. Осваиваю ее тело. Как пахарь – целину.

Я представлял: вот я вхожу в ее комнату, и она тут же, на пороге, виснет у меня на шее. За бутылкой шампанского, а я ехал к ней с бутылкой шампанского и коробкой шоколадных конфет, мы умно бы беседовали о литературе, музыке и других высоких материях, а потом занялись бы любовью. А потом я ушел бы, и она мило поцеловала бы меня у порога. И домой я вернулся бы под утро. А потом это снова бы повторилось, и снова...

Как я уже сказал, я был очень робок с девушками, и надо ли говорить, что если в начале пути, от станции «Университет» до «стекляшки», как называли университетскую библиотеку, я шел быстрым, твердым и уверенным шагом, то по мере приближения к зданию университета шаг мой становился все медленнее, и к дверям ее комнаты на десятом этаже я подошел очень тихо, на цыпочках.

Я дрожал всем телом, но не от возбуждения, а от страха. Робким возлюбленным я был тогда, ох, робким! И вот я собрался с духом и поднял руку, чтобы нажать на кнопку звонка... но так и не нажал. Я малодушно опустил руку.

Я струсил и так и не постучал девушке в комнату, так и не смог преодолеть свою природную робость. Это потом я стал беззастенчивым, безнравственным и напористым самцом, а тогда, на первом курсе, был девственно чистым и юным, очень скромным и нерешительным.

Я вышел из здания универа. Массивная дверь из дерева с таким пренебрежением двинула меня по заднице, что я еле удержался на ногах. И от этого пренебрежения я заплакал. Я спустился по мраморной лестнице, сел на скамейку и разрыдался пуще прежнего. О чем я плакал? Да о том, что все парни как парни, они вон и ДАС расшифровывают не иначе, как Дом активного секса, а я... я... веду себя как последний идиот, я так и не решился постучать к девушке в комнату. Я плакал от того, что мне девятнадцать лет, а я все еще девственник. Грустный, смешной девственник.

Да, бывают моменты, когда душа и тело так истоскуются по любви, женскому телу, что уже не вмоготу, и ты поневоле заплачешь...

Я не хотел отдавать себя на смех и поругание своим друзьям и приятелям, а потому в ДАС вернулся не сразу. Я всю ночь слонялся по улицам города. Помню, что было холодно, мороз лютовал, я очень замерз и остаток ночи скоротал на Казанском вокзале.

Заявился в общежитие я лишь под утро, с чистой душой и незапятнанным спермой телом. С воспаленными от бессонницы глазами. Заявился довольный, возбужденный, делаю вид, будто всю ночь занимался любовью с девушкой.

– Ну как? Соблазнил девушку? Потерял невинность? – спросил меня Мишка Алов.

– Да, обольстил! – ответил я, придав своему лицу самодовольное, тщеславное выражение.

После этого ответа меня некоторое время так и называли – Обольститель.

Так бесславно закончилось мое любовное приключение, затеянное на первом курсе журфака.

Но вот что странно: все мои бесчисленные романы и объятия стерлись из памяти, а вот это несостоявшееся нелепое свидание осталось в памяти навсегда. Навсегда осталась в памяти и та зимняя холодная ночь, когда я бесцельно бродил по безлюдным заснеженным улицам Москвы.

А шампанское и конфеты я употребил с цыганами в зале ожидания Казанского вокзала.

Вспоминая Кучборскую

Я пытался записывать лекции доктора филологических наук, профессора Е.П. Кучборской, но из этой затеи у меня ничего не вышло. Во-первых, на первом курсе журфака МГУ у меня не было никакого стенографического опыта, а во-вторых, это было чрезвычайно трудно: мышление Елизаветы Петровны принципиально не поддавалось механическому записыванию. И я просто слушал, впитывал ее речь, движения, жесты глазами, ушами, всеми пятью чувствами.

Она так мастерски разыгрывала сцены, сопровождая свою речь долгими замираниями и паузами, величественными взмахами рук с тонкими запястьями и не менее величественными поворотами головы в профиль и анфас, что пропустить все это, пока ты конспектируешь в тетрадь, было крайне неразумно. Ничего не хотелось упустить: ни слова, ни движения, ни жеста.

Я заслушивался и забывал про свой жалкий конспект.

* * *

Кучборская входила в аудиторию, невысокая, стройная, вся в черном, словно сошедшая с древнегреческой «вазы чернофигурной» (Ахматова), ловким отработанным движением руки бросала потертый кожаный портфель на стол и начинала лекцию – без долгих предисловий и всякого разбега уносила в глубь веков, в мир Древней Греции. А вслед за ней, замороженные и увлекаемые ее глубоким сильным голосом, проникающим в самое сердце, уносились и мы, молодые зрители и слушатели.

Может быть, именно поэтому она так не любила опоздавших на лекцию, что и ей, и нам приходилось «выныривать» из глубины веков, из мира Эллады в современность. В высшей степени интеллигентная и деликатная, она была очень эмоциональной и могла гневно воскликнуть опоздавшему: «Вон из аудитории!» Не забыв при этом величественной рукой указать на дверь...

Однажды мы с моим другом Виктором Гуркиным опоздали на лекцию Кучборской. На целых десять минут!

– Может, войдем? Всего же на десять минут опоздали, – сказал Виктор, взглянув на часы.

– Нет, не пойду! Мы же обещали Елизавете Петровне не опаздывать. Мы нарушили свое обещание – как будем смотреть ей в глаза? Есть вещи, которые порядочные люди не переступают.

– Да пойдем, всего же на десять минут опоздали, – повторил Виктор.

– Не пойду! Ты понимаешь русский язык?! Представь, в эту минуту Кучборская ведет всех за собой на гору Олимп, где живут боги – Зевс, Аполлон, Гермес, Гефест, – и тут заходят в аудиторию два балбеса – Люлькин – Гуркин: «Здрасьте вам!...»

Признаюсь: открыть дверь и войти в аудиторию, где Елизавета Петровна уже читает лекцию большому поголовью будущих знаменитостей, было страшновато. Я боялся ее строгого осуждающего взгляда, я боялся нравственного осуждения, и в тот день мы на лекцию не пошли.

* * *

Вспоминая Кучборскую, знаете о чем жалею? О том, что не рассказал ей на экзамене один трагический эпизод из своей варварской, доуниверситетской жизни.

Эпизод из той поры, когда я еще не читал «Илиаду»...

На первой лекции Кучборская сказала, что портрета Елены Прекрасной в «Илиаде» нет. Гомер упомянул лишь две ее черты: белые руки и пышные волосы. Но именно она стала причиной всех бесчисленных несчастий. «Покажите нам действие, производимое красотой, и вы покажете нам самую красоту!» – процитировала она Лессинга.

Елена – «достойная войны».

Эта мысль, что именно Елена Прекрасная стала причиной Троянской войны, пробудила во мне воспоминание четырехлетней давности. Я вспомнил свою одноклассницу Зинаиду К., которая тоже была прекрасной девушкой, «достойной войны».

Однажды у сельского клуба я со своими корешами устроил жесточайшую драку с ребятами из параллельного 9-го «Б» класса. Драка началась из-за красавицы, в которую были влюблены и мой друг Володя К., и Николай К., парень из 9-го «Б».

В тот злополучный вечер Зинка тоже была в клубе, я видел ее стройную девичью фигуру...

Один из избитых ребят, тот самый влюбленный Николай К., вырвался, сбежал домой, схватил отцовский дробовик, вернулся в клуб и начал палить.

Осатаневший, он ловил каждого, кто жестоко бил его, и в упор стрелял.

В тот вечер Николай ранил четверых.

Здоровенной порцией свинцового заряда он нашпиговал и мой юный организм. Помню, мне было очень страшно, когда Николай направил ружье прямо на меня и в упор выстрелил.

Помню еще, что мне было очень больно...

Нет, мы не были дикими, пещерными людьми, мы все учились в школе на хорошо и отлично. Просто в родном мордовском селе мы привыкли ТАК проводить свой досуг. Поверьте, ничего особенного не произошло, и мы даже в суд на Николая подавать не стали, завершили все миром.

Наверное, я мог бы с простодушным лицом сказать Кучборской: «Елизавета Петровна, а ведь в девятом классе в меня шмальнули из ружья. И поверите ли, стрельба тоже началась из-за прекрасной девушки, „достойной войны“. Вот такая получилась „связь времен“, о которой вы однажды говорили на лекции».

Интересно, как бы Елизавета Петровна отреагировала?

У нее были нестандартные взгляды и на литературу, и на жизнь, и очень трудно предугадать, какой была бы ее реакция.

Вариантов несколько.

Восприняла мою откровенность как «ужасную глупость» (ее выражение: «Вы говорите ужасную глупость!»).

Написала в зачетке: «Дурак. Написанному верить. Кучборская» (реальный случай; слава богу, не в моей зачетке) – и выкинула бы ее в окно (реальный случай).

Сказала: «О необузданный! Дважды погибнуть собрался!» (Так она говорила об Одиссее.)

Я сидел с ней рядом, один на один, никто не мешал нашему разговору, и, казалось бы, я мог заговорить с ней на любую тему, но я так и не решился поделиться историей из своей жизни. Чтобы рассказать ей об ЭТОМ эпизоде, надо было воспринимать ее как обычную земную женщину, падкую на сплетни и слухи, но, разумеется, я не мог представить даму в таком обличье. Для меня она была интеллигентная, культурная, высокообразованная, и рассказать ей о чем-то низменном, о какой-то дикой, шальной стрельбе у меня не хватило духа.

* * *

Через много лет, в 2001 году, я приехал в отпуск в родное село Томылово.

...Была ночь, как вдруг под окнами нашего дома раздалась песня. Два мужских голоса на всю улицу орали:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой!

Мать глянула в окно, по-старушечьи недовольно забурчала: «Вон два друга в обнимку идут. Налопались где-то лесники наши. Орут, как в лесу, спать людям не дают, совсем одичали. Недаром говорят: в лесу люди лесеют, в людях – лютеют...»

И на чем могли сойтись такие совершенно разные люди – и по возрасту, и по характеру? Один из лесников, Афанасьев Петр, сорокалетний мужик – низок ростом, но широк в плечах. Ворот рубахи расстегнут, короткая шея, и грудь вся напоказ, в густой шерсти поблескивает в лунном свете серебряный крестик. Отроду был он шепутным, то и дело бузил, да он и сейчас, поговаривают, не упустит случая помахать кулаками. Такой ухарь! Приятель же его, Сергей Павлов – длиннорукий, мускулистый, скуластый – почти в два раза моложе Петра, но в силе ничуть не уступал своему дружку. Бывший десантник, он, сказывали, так натренировал свое тело, что не дай Бог попасть под его горячую руку. Спасало то, что по характеру Сергей был спокоен и невозмутим и редко прибегал к помощи своих накачанных бицепсов...

Снова все стихло, но не прошло и часа, как на улице раздался отчаянный женский вопль: «Караул! Убили!»

Залаяли собаки, оглушительно заквакали лягушки.

Я выбежал на улицу.

«Е-к-л-м-н!» – воскликнул я, потеряв дар речи. Посреди дороги, весь в крови и без сознания, лежал Сергей Павлов, а вокруг него суетилась какая-то женщина из местных, неумело пытавшаяся привести парня в чувство. Она шла домой и случайно наткнулась на распростертое в пыли окровавленное тело...

А случилось вот что. Друзья пошли в гости к Павлову. Жил он в доме один, холостяком, и никто не мог помешать их разгулу. Там-то за бутылкой водки у них и разгорелся сыр-бор.

Из-за чего – один Бог ведает (верно, из-за пустяка), только переругались друзья насмерть. Вдруг Павлов резко нагнулся да как шарахнет Афанасьева пустой бутылкой по темечку. Тот грохнулся с табурета без чувств. Придя же в себя, с трудом поднялся и, не сказав ни слова, вышел. Через тьму напролом, задворками, ломая кусты в заброшенном саду, он добежал до своего сарая, где у него под поленицей дров хранилось незарегистрированное ружье, и в каком-то зыбком угаре вернулся, чтобы отомстить своему обидчику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.